

БРАТСКАЯ



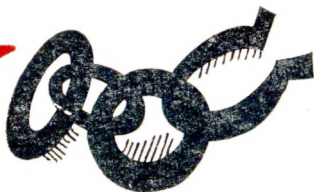
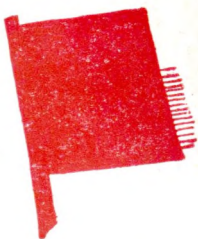
ГЭС



ЕВГЕНИЙ

Евтушенко

**С О В Е Т С К И Й
П И С А Т Е Л Ъ
М О С К В А
1 9 6 7**



ЕВГЕНИЙ

ЕВТУШЕНКО

стихи и поэма



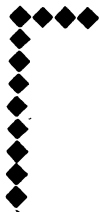
БРАТСКАЯ
Братск
Братск

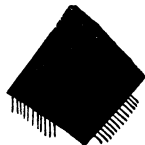
ГЭС

В книгу входят новые стихи Евг. Евтушенко и поэма «Братская ГЭС».

Поэма была опубликована в 1965 году в журнале «Юность». В книге печатается впервые. Автор учел читательские пожелания, сделал в поэме ряд поправок.

Художник В. К. СТАЦИНСКИЙ





МУКИ СОВЕСТИ

Д. Шостаковичу

Мы живем, умереть не готовясь,
забываем поэтому стыд,
но мадонной невидимой совесть
на любых перекрестках стоит.

И бредут ее дети и внуки
при бродяжьей клюке и суме,
муки совести — странные муки —
на бессовестной к стольким земле.

От калитки опять до калитки,
от порога опять на порог
они странствуют, словно калики,
у которых за пазухой бог.

Не они ли с укором бессмертным
тусклым ногтем стучали тайком
в слюдяные окошечки смердов,
а в хоромы царей — кулаком!

Не они ли на загнанной тройке
мчали Пушкина в темень пурги,
Достоевского гнали в остроги
и Толстому шептали: «Беги!»!

Палачи понимали прекрасно:
«Тот, кто мучится,— тот баламут.
Муки совести — это опасно.
Выбьем совесть, чтоб не было мук».

Но, как будто набатные звуки,
сотрясая их кров по ночам,
муки совести — грозные муки —
проникали к самим палачам.

Ведь у тех, кто у кривды на страже,
кто давно потерял свою честь,
если нету и совести даже,—
муки совести все-таки есть.

И покуда на свете на белом,
где никто не безгрешен, никто,
в ком-то слышится: «Что я наделал!»,—
можно сделать с землей кое-что.

Я не верю в пророков наитья,
во второй или тысячный Рим,—
верю в тихое: «Что вы творите!»,—
верю в горькое: «Что мы творим!»

И целую вам темные руки
у безверья на скользком краю,
муки совести — светлые муки,—
за последнюю веру мою.



ГРАЖДАНЕ, ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ!..

Д. Андайку

**Я на пароходе «Маяковский»,
а в душе — Есенина березки,
мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я — слышится мне, что ли! —
полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня!..»**

**Палуба сгибается и стонет.
Под гармошку палуба чарльстонит,
а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня...»**

**Там сидит солдат на бочкотаре.
Прислонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изводит,
а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня...»**

**Граждане не хотят его слушать.
Гражданам бы выпить, да откусать,**

**и сплясать, а прочее — мура!
Впрочем, нет, еще поспать им важно...
Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня!..»**

**Кто-то помидор со вкусом солит,
кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвет меха,
но ведь сколько раз в любом кричало
и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня...»**

**Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая ребра и корежа,
высказаться суть их не могла.
Вряд ли что с недоброю душою,
но не слышат граждане чужое:
«Граждане, послушайте меня...»**

**Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же, только без гитары...
Через реки, горы и моря
и бреду, и руки простираю,
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня...»**

**Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня в целом-то мелка!
Вдруг в ней все ничтожно будет, кроме
этого мучительного, с кровью:
«Граждане, послушайте меня...»!!**



* * *

Качался старый дом, в хорал слагая скрипы,
и нас, как отпевал, отскрипывал хорал.
Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно
в нем умирала ты, и я в нем умирал.

«Постойте умирать!» — звучало в ржанье с луга,
в протяжном вое псов и в сосенной волшбе,
но умирали мы навеки друг для друга,
и это все равно, что умирать вообще.

А как хотелось жить! По соснам дятел чокал,
и бегал еж ручной в усадебных грибах,
и ночь плыла, как пес, косматый, мокрый, черный,
кувшинкою речной держа звезду в зубах.

Дышала мгла в окно малиною сырою,
а за моей спиной — все видела спина! —
с платоновскою «Фро», как с найденной сестрою,
измученная мной, любимая спала.

Я думал о тупом несовершенстве браков,
О подлости всех нас — предателей, врунов.

**Ведь я тебя любил, как сорок тысяч братьев,
и я тебя губил, как столько же врагов.**

**Какая же цена ораторскому жару,
когда, расшвырян вдрызг по сценам и клише,
хотел я счастье дать всему земному шару,
а дать его не смог одной живой душе!**

**Да, стала ты другой. Твой злой прищур нещаден.
Насмешки над людьми горьки и солонны.
Но кто же, как не мы, любимых превращает
в таких, каких любить уже не в силах мы!!**

**Да, умирали мы... Но что-то мне мешало
уверовать в твое, в мое небытие.
Любовь еще была. Любовь еще дышала
на зеркальце в руках у слабых уст ее.**

**Качался старый дом, скрипел среди крапивы
и выдержку свою нам предлагал взаймы.
В нем умирали мы, но были еще живы.
Еще любили мы, и, значит, были мы.**

**Когда-нибудь потом — не дай мне бог, не дай мне! —
когда я разлюблю, когда и впрямь умру,
то будет плоть моя, посмеиваясь втайне:
«Ты жив!» — мне по ночам нашептывать в жару.**

**Но в суете страстей, печально поздний умник,
внезапно я пойму, что голос плоти лжив,
и так себе скажу: «Я разлюбил. Я умер.
Когда-то я любил. Когда-то я был жив».**



* * *

Я разлюбил тебя... Банальная развязка,
банальная, как жизнь, банальная, как смерть.
Я оборву струну жестокого романса,
гитару пополам — к чему ломать комедь!

Лишь не понять щенку — лохматому уродцу,—
чего ты так мудришь, чего я так мудрю.
Его впущу к себе — он в дверь твою скребется,
а впустить ты его — скребется в дверь мою.

Пожалуй, можно так с ума сойти, метаясь...
Сентиментальный пес, ты попросту юнец,
но не позволю я себе сентиментальность.
Как пытку продолжать —,затягивать конец.

Сентиментальным быть не слабость — преступленье,
когда размякнешь вновь, наобещаешь вновь
и пробуешь, крихтя, поставить представление
с названием тупым: «Спасенная любовь».

Спасать любовь пора уже в самом начале
от пылких «Навсегда!», от детских «Никогда!».
«Не надо обещать!» — нам поезда кричали,
«Не надо обещать!» — мычали провода.

Надломленность ветвей и неба задымленность
предупреждали нас, зазнавшихся невежд,
что полный оптимизм есть неосведомленность,
что без больших надежд — надежней для надежд.

Гуманней трезвым быть и трезво взвесить звенья
допрежь, чем их надеть, — таков закон вериг,
не обещать небес, но дать хотя бы землю,
до гроба не сулить, но дать хотя бы миг.

Гуманней не твердить «люблю», когда ты любишь.
Как тяжело потом из этих самых уст
услышать звук пустой, вранье, насмешку, грубость,
и ложно полный мир предстанет ложно пуст.

Не надо обещать. Любовь — неисполнимость.
Зачем же под обман вести, как под венец!
Виденье хорошо, пока не испарилось.
Гуманней не любить, когда потом конец.

Скулит наш бедный пес до умопомраченья,
то лапой в дверь твою, то в дверь мою скребя.
За то, что разлюбил, я не прошу прощенья,
прости меня за то, что я любил тебя.



* * *

В. Аксенову

Я как поезд,
 что мечется столько уж лет
между городом Да
 и городом Нет.
Мои нервы натянуты,
 как провода,
между городом Нет
 и городом Да.

Все мертво, все запугано в городе Нет.
Он похож на обитый тоской кабинет.
В нем насупился замкнуто каждый предмет.
В нем глядит подозрительно каждый портрет.
По утрам натирают в нем желчью паркет.
В нем диваны — из фальши, в нем стены — из бед.
Черта с два в нем получишь ты добрый совет,
или, скажем, букет, или просто привет.
Пишмашинки стучат под копирку ответ:
«Нет-нет-нет... нет-нет-нет... нет-нет-нет...»

**А когда совершенно погасится свет,
начинают в нем призраки мрачный балет.
Черта с два — хоть подохни! — получишь билет,
чтоб уехать из черного города Нет...**

**Ну, а в городе Да жизнь — как песня дрозда.
Этот город без стен, он — подобье гнезда.
С неба просится в руки любая звезда.
Просят губы любые твоих без стыда,
бормоча еле слышно: «А, все ерунда!»
И сорвать себя просит, дразня, резеда,
и, мыча, молоко предлагают стада,
и ни в ком подозрения нет ни следа,
и, куда ты захочешь, мгновенно туда
принесут поезда, самолеты, суда,
и, журча, как года, чуть лепечет вода:
«Да-да-да... да-да-да... да-да-да...»
Только скучно, по правде сказать, иногда,
что дается мне столько почти без труда
в разноцветно светящемся городе Да...**

**Пусть уж лучше мечусь до конца моих лет
между городом Да**

и городом Нет!

**Пусть уж нервы натянуты, как провода,
между городом Нет**

и городом Да!

* * *

А снег повалится, повалится,
и я прочту в его канве,
что моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне.

И поведет куда-то за руку
на чьи-то тени и шаги,
и вовлечет в старинный заговор
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется
по Сретенкам и Моховым,
что молод не был я пока еще,
а только буду молодым.

И ночь завертится, завертится
и, как в воронку, втянет в грех,
и моя молодость завесится
со мною снегом ото всех.

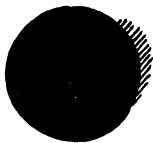
2 Ев. Евтушенко

**Но, сразу ставшая накрашенной
при беспристрастном свете дня,
цыганкой, мною наигравшейся,
оставит молодость меня.**

**Начну я жизнь переиначивать,
свою наивность застыжу
и сам себя, как пса бродячего,
на цепь угрюмо засажу.**

**Но снег повалится, повалится,
закружит все веретеном,
и моя молодость появится
опять цыганкой под окном.**

**А снег повалится, повалится,
и цепи я перегрызу,
и жизнь, как снежный ком, покатится
к сапожкам чьим-то там, внизу...**



ПО ПЕЧОРЕ

**За ухой, до слез перченой,
сочиненной в котелке,
спирт, разбавленный Печорой,
лили мы на катерке.**

**Катерок плясал по волнам
без гармошки трепака
и о льды на самом полном
обдирал себе бока.**

**И плясали мысли наши,
как стаканы на столе,
то о Даше, то о Маше,
то о каше на земле.**

**Я был вроде и не пьяный,
ничего не упустил.
Как олень под снегом ягель,
под словами суть искал,**

**Но в разброде гомонившем
не добрался я до дна,
ибо суть и говорившим
не совсем была ясна.**

**Люди все куда-то плыли
по работе, по судьбе.
Люди пили. Люди были
неясны самим себе.**

**Оглядел я, вздрогнув, кубрик:
понимает ли рыбак,
тот, что мрачно пьет и курит,
отчего он мрачен так!**

**Понимает ли завскладом,
продовольственный колосс,
что он спрашивает взглядом
из-под слипшихся волос!**

**Понимает ли, сжимая
локоть мой, товаровед —
что он выяснить желает!
Понимает или нет!**

**Кулаком старпом грохочет.
Шерсть дымится на груди.
Ну, а что сказать он хочет —
разбери его поди.**

**Все кричат: предсельсовета,
из рыбкопа чей-то зам.**

Каждый требует ответа,
а на что — не знает сам.

Ах ты, матушка Россия,
что ты делаешь со мной!
То ли все вокруг смурные!
То ли я один смурной!

Я — из кубрика на волю,
но, суденышко креня,
вопрошающие волны
навалились на меня.

Вопрошали что-то искры
из трубы у катерка,
вопрошали ивы, избы,
птицы, звери, облака.

Я прийти в себя пытался,
и под крики птичьих стай
я по палубе метался,
как по льдине горностаи.

А потом увидел ненца.
Он, как будто на холме,
восседал надменно, немо,
словно вечность, на корме.

Тучи шли над ним, нависнув,
ветер бил в лицо, свистя,
ну, а он молчал недвижно —
тундры мудров дитя.

Я застыл, воображая —
вот кто знает все про нас.
Но взгляделся — вопрошали
щелки узенькие глаз.

«Неужели,— как в тумане
крикнул я сквозь рев и гик,—
все себя не понимают
и тем более — других!»

Мои щеки повлажнили.
Вихорь брызг меня шатал.
«Неужели! Неужели!
Неужели!» — я шептал.

«Может быть, я мыслю грубо!
Может быть, я слеп и глух!
Может, все не так уж глупо —
просто сам я мал и глуп!»

Катерок то погружался,
то взлетал, седым-седой.
Грудью к тросам я прижался,
наклонился над водой.

«Ты ответь мне, колдовская,
голубая глубота,
отчего во мне такая
горевая глупота!»

Езжу, плаваю, летаю,
все куда-то тороплюсь,

**книжки умные читаю,
а умней не становлюсь.**

**Может, поиски, метанья —
не причина тосковать!
Может, смысл существованья
в том, чтоб смысл его искать!»**

**Ждал я, ждал я в криках чаек,
но ревела у борта,
ничего не отвечая,
голубая глубота.**



ЧЕТЫРЕ ЧУЛОЧНИЦЫ

А. Твардовскому

По подвыпившим улицам ходят чулки,
на морозце к ногам примораживаясь,
и девчонки,

 слюня носовые платки,
вытирают чулки,

 прихорашиваясь.

И твистуют чулки,

 и пустуют чулки,

себя где-то на трубах высушивая,
и по скверам подрагивают,

 чутки,

что-то очень такое выслушивая.

А четыре чулочницы

 отдыха для

выпивают по случаю женского дня.

Кто не с ними — дурак!

 И барак — барак,

и музыка гремит,

 как на лучших балах!

А в красильном цеху —
там туман да туман,
а приходишь домой —
там тумак да тумак,
зареветь бы,
обнявши березку, ольху,
и туман в голове
как в красильном цеху.
У одной пьет мужик,
у другой пьет мужик,
и у третьей он пьет...
У четвертой — лишь пшик:
у четвертой тоска,
что вот нет мужика
{хоть бы пил,
да хоть был...}.
«Ну их к черту!» —
сказала, хлебнувши, одна.
«Ну их к черту!» —
вторая рванула до дна.
«Ну их к черту!» —
и третья очнулась от сна,
а четвертая,
хоть и ничья не жена,
деловито и кратко послала их на...

Хорошо просто так полежать на боку,
поглядеть в потолок,
пожевать чесноку,
целоваться-то не с кем,
так выпей — и с ног!

Так хрусти

им, пьянчугам, в отместку,

чеснок!

А в соседней клетушке —

там писк и «кыш-кыш!».

Там живет среди кроликов,

птиц

и афиш

бывший вроде актер,

ну а ныне вахтер

по прозванию дядь Миш.

И заходит дядь Миш в безадамовый рай.

На плече его важно сидит попугай.

Ну, а бабы кричат:

«Попугай, не пугай!

Мы такое расскажем тебе, попугай,

что хоть в Африку снова сбегай!»

И — к дядь Мише одна,

и, видать, не впервой:

«Эх, дядь Миш,

и какой же бессовестный — мой...»

«Это точно...» —

дядь Миш чуть качнет бородой.

«Ну, а был ты такой же,

когда ты был муж!»

«Был такой же...» —

кивнет бородою дядь Миш.

И дядь Мишу чулочницы весело бьют,

и в селедку его бородою суют,

а потом,

подобревши душою,

встают:

«Ну, а все-таки где наши сволочи пьют!»

«Точно, сволочи...» —

им подыграет дядь Миш.

«Как так — сволочи! —

тут же.—

Чего ты дуришь!

Все же наши мужья,

а не то чтобы чьи...

Если пьют они —

все-таки пьют на свои...»

«Мой имеет медаль как-никак за Берлин...»

«Ну, а мой — бригадир,

и такой он — один...»

«Ну, а мой — не герой,

ну а все-таки — мой...»

И уходят три гордые бабы домой.

А четвертая —

та, что ничья не жена,

остается одна

и стоит у окна.

Ей так хочется тоже кого-то искать,

и таскать на себе,

и, дурного, ласкать.

А по улицам ходят чулки,

чулки...

У дядь Миши веселье —

родились щенки.

И дядь Миша заходит:

«Ну, мать, хватит пить.

Подарю тебе лучше щенка,

чем топить».





ПАМЯТИ АХМАТОВОЙ

!

**Ахматова двувременной была.
О ней и плакать как-то не пристало.
Не верилось, когда она жила,
не верилось, когда ее не стало.**

**Она ушла, как будто бы напев
уходит в глубь темнеющего сада.
Она ушла, как будто бы навек
вернулась в Петербург из Ленинграда.**

**Она связала эти времена
в туманно-тенивое средоточье,
и если Пушкин — солнце, то она
в поэзии пребудет белой ночью.**

**Над смертью и бессмертьем, вне всего,
она лежала, как бы между прочим,
не в настоящем, а поверх него,
лежала между будущим и прошлым.**

**И прошлое у гроба тихо шло
не вереницей дам богоугодных.
Седые челки гордо и светло
мерцали из-под шляпок старомодных.**

**Да, изменило время их черты,
красавиц той, когдатойшей России,
но их глаза — лампы доброты —
ни крутоверть, ни мгла не загасили.**

**Шло будущее, слабое в плечах.
Шли мальчики. Они себя сжигали
пожаром гимназическим в очах
и в кулаках тетрадочки сжимали.**

**И девочки в портфельчиках своих
несли, наверно, дневники и списки.
Все те же — из блаженных и святых —
наивные российские курсистки.**

**И ты, распад всемирный, не убий
ту связь времен,— она еще поможет.
Ведь просто быть не может двух Россий,
как быть и двух Ахматовых не может.**

II

**Ну, а в другом гробу, недалеко,
как будто рядом с библией частушка,
лежала в белом простеньком платке
ахматовского возраста старушка.**

Лежала, как готовилась к венцу,
улав стирать, мести, скрести и штопать,
крестьянка по рукам и по лицу,
а в общем, домработница, должно быть.

Быть мертвой — это райское житье.
За ней так добро люди приглядели
и словно перед праздником дите
и вымыли и чисто приодели.

Цветами ее, правда, не почли,
но был зато по мерке гроб подогнан,
и дали туфли новые почти,
с квиточками ремонта на подошвах.

Была она прощающе ясна
и на груди благоговейно сжала
сухие руки, будто бы она
невидимую свечку в них держала.

Они умели в жизни все уметь
(писали, правда, только закорюки),
тяжелые и темные, как медь,
ни разу не целованные руки.

И думал я: а может быть, а вдруг,
но все же существуют две России:
Россия духа и Россия рук —
две разные страны, совсем чужие!!

Никто о той старушке не скорбел.
Никто ее в бессмертные не прочил.

**И был над нею отстраненно бел
Ахматовой патрицианский профиль.**

**Ахматова превыше всех осанн
покоилась презрительно и сухо,
осознавая свой духовный сан
над самозванством и плебейством духа.**

**Аристократка! Вся оттуда, где
под рысаками билась мостовая!
Но руки на цветах, как на воде,
покачивались, что-то выдавая.**

**Они творили, как могли, добро,
но силы временами было мало,
и, легкое для Пушкина, перо
с усмешкой пальцы женские ломало.**

**Забыли пальцы холодок Аи,
и поцелуи в Ницце, Петербурге,
и, на груди сведенные, они
крестьянскою усталостью набухли.**

**Царица без короны и жезла,
среди даров почтительности тусклых,
была она прощающе ясна,
как та старушка в тех дареных туфлях.**

**Ну, а старушка в том, другом гробу
лежала, не увидевшая Ниццы,
с ахматовским величием на лбу,
и между ними не было границы.**

СТИХИ О СТАРУХАХ

Товарищ, певец наступлений и пушек,
ваятель красных человеческих статуй,
простите меня — я жалею старушек,
но это единственный мой недостаток.

М. Светлов

I

**Мы быть молодыми всюю норовим,
а старость вот-вот и наступит.
У самого края дороги на Рим
старуха сидела на стуле.**

**Был стул не складной — из фамильных, святых,
с высокою гнутою спинкой,
и клетка стояла у ножек витых
с морскою белесою свинкой.**

**Старуха была горбоноса, черна.
Она не стирала, не шила —
лишь чуть шевелила губами она,
когда пролетали машины.**

«Фиаты», «фольксвагены», сотни авто...
Но тайну старуха являла —
не то проклинала машины, не то
по-доброму благословляла.

Быть может, она сумасшедшей была,
а может быть, попросту грелась,
но в крылья машинные, как в зеркала,
смотрелась она и смотрелась.

И к Риму от горных глухих деревень
летела сквозь холмы и реки,
как тень Хиросимы, старухина тень,
впечатана в крылья навеки.

«Смотрите! — отбросив роман «Леопард»,
художник восторженно свистнул.—
Скульптурная группочка — прямо поп-арт:
старуха на стуле и свинка!»

А спутник — знаток философских наук —
изрек сквозь обычную хмурость:
«При чем тут поп-арт! Это символ, мой друг,
что лишь в созерцании — мудрость».

Художник был худ, а философ жирен,
и были бы сильные споры,
но мрачно на них покосился шофер
и буркнул им: «Старость, синьоры...»

Женщина расчесывала косу,
пахнущую утренней рекой,
гладила, потягиваясь, кожу,
и скрипела кожа под рукой.

Свежие и твердые на зависть
выпускала груди из руки,
так что в небо сизое вонзались
остриями темные соски.

Прикасались пальцы, словно к богу,
сладко сознавая наготу,
к втянутому, с бледным шрамом сбоку
и с пушком девичьим животу.

Но внезапно из-за хвойных игол,
так жестоко стоя на своем,
голосок девчоночий захныкал:
«Бабушка, когда же мы пойдем!»

И лицо пробилося вдруг из тени
молодо распущенных волос,
и морщинок жалкое смятенье,
выдавая старость, прорвалось.

Ну а тело будто бы летело,
позабыв проклятые лета,
тело, восставая, не хотело
забывать предательства лица.

Женщина укрылась за орешник...
Стоя у обрыва на краю,
прятала в приличные одежды
юность неприличную свою.

И навстречу мне, потупясь глухо,
спрятав свое тело взаперти,
вышла — ну не то чтобы старуха,
но уже не женщина почти.

И отвел глаза я моментально,
вроде размышляя про свое,
и не выдал я, что знаю тайну,
может быть, последнюю ее...

3

В тот день высоким обществом старух
я был допущен к бубликам и чаю.
Царил, спасенный ото всех разрух,
естественной изысканности дух,
какой я нынче редко замечаю.

О лучших людях времени того
мне говорило лучше летописца
воспитанное тонко озорство,
скрываемое тонко любопытство.

И для меня, чья речь бедным-бедна,
как дом, который кем-то обворован,
почти как иностранная была
забытость чисто русских оборотов.

Старухи были знамениты тем,
что их любили те, кто знамениты.
Накладывал на брэнность птичьих тел
причастности возвышенную тень
невидимый масонский знак элиты.

Не вмешиваясь в этот разговор,
я чувствовал себя порой от взгляда
нелепым, как мытищинский кагор
в компании «клик» и «монтильядо».

Но обвинить их в барском чем-нибудь,
ручаюсь,— было б это, право, скотство.
В их превосходстве не было ничуть
плебейского сознанья превосходства.

А сколько войн, их души не спая,
прошло по ним в своих пожарах гневных:
две мировые, и одна своя,
и тыщи беспожарных, ежедневных.

В какие дали кара их гнала!
И в проволочном скрежете, рычанье
мне виделись Инта, Караганда
над чопорными чашечками чаю.

К старухам не пристал налет блатной,
и в стеганках, служивших им без срока,
одергивали чей-то мат блажной
надменным взором незнакомк Блока.

**И, мерзлый грунт копая дотемна,
когда их вьюги страшные шатали,
прославленные чьи-то имена
по праву уменьшительно шептали.**

**Не допуская злобу дня в родню,
они хранили вечного подспудность,
воспитанности тонкую броню
и гордо-незлопамятную мудрость.**

**Страна сверхскоростей и сверхнаук,
сверхфизиков, сверхлириков, сверхстроек,
Россия, ты еще страна старух,
быть может, сверхпрощающих, но строгих.**

**...В воротничках немодных отложных,
почти бесплотны, чай старухи пили,
но, может быть, не в ком-нибудь, а в них
воплощены черты России были.**

**Я слушал их, весь обращенный в слух.
А что они от нас еще услышат!**

**Хочу писать я для таких старух.
Для девочек пускай другие пишут.**

ЗАПАДНЫЕ КИНОВПЕЧАТЛЕНИЯ

Прочь акатоне,
 прочь пеонов —
айда на фильмы про шпионов!
Что Гамлет
 или Хиросима!
Страданья —
 это некрасиво.
Красиво —
 чью-то ручку чмокнуть,
и вдруг —
 наручник на нее.
Красиво —
 выследить и чпокнуть.
Не жизнь — малина,
 ё-моё!
Что толку шумным быть поэтом,
какая в этом благодать!
А вот бесшумным пистолетом
полезней,
 право,
 обладать!

Чекист сибирский

Лев Огрехов
вербует водкой бедных греков
и разбивается на части,
вооруженный до зубов,
внезапно выпрыгнув из пасти
рекламы пасты для зубов.

С мешком резиновым тротила
американец Джон О'Нил,
напялив шкуру крокодила,
переплывает ночью Нил.

Следя за тайнами красавиц,
шпион китайский —
тощий Ван,
насквозь пружинами пронзаясь,
ложится доблестно в диван.
И там, страдая,
вместо «Мама...»

он грустно шепчет:
«Мао... Мао...»

И надо всеми,
как над плербсом,
ведя себя с английским блеском,
целует девочек взасос
Джеймс Бонд —
шпион, Иисус Христос!

С ума схожу.
Себя же боязно.

Быть может, я и сам шписн!
Я скручен лентами шпионскими,
как змеями —

Лаокоон.

Вот к вам приходит друг с бутылкой.
Не слишком кажется ли пылкой
вам речь его?

Воркует бас...

А может, он вербует вас!!

Вот ночью женщина в постели
вам что-то шепчет еле-еле.
В ее глазах такая качка...
А может быть, она стукачка!!

Ваш дядя —

самых честных правил —
купил тройной одеколон.
Он вас подумать не заставил,
что он в душе —
тройной шпион!!

Вот мира этого Бербанк!
Шпикам на радость мокроносым
скрестил он розу с микрофоном
и положил миллиончик в банк.

Но, кстати, знайте,

что пионы
уже давным-давно —
шпионы.

**Мне снится мир под мрачным сводом,
где завербована луна,
где городам и пароходам
дают шпионов имена.**

**Спешат шпионы-делегаты
на мировой шпионский съезд.
Висят призывные плакаты:
«Кто не шпионит — тот не ест».**

**И тысячи живых шпионов,
как совесть наций, честь и суд,
букеты розо-микрофонов
к шпионам бронзовым несут...**

**Реклама,
брось шипеть неоном!
В моем понятии простом
шпион останется шпионом,
Христос останется Христом.**



ПРОЦЕССИЯ С МАДОННОЙ

Людовико Коррао

**В городишке тихом Таормина
стройно шла процессия с мадонной.
Дым свечей всходил и таял мирно,
невесомый, словно тайна мига.**

**Впереди шли девочки — все в белом
и держали свечи крепко-крепко.
Шли они с восторгом оробелым,
полные собой и миром целым.**

**И глядели девочки на свечи
и в неверном пламени дрожащем
видели загадочные встречи,
слышали заманчивые речи.**

**Девочкам надеяться пристало.
Время обмануться не настало,
но, как будто их судьба, за ними
позади шли женщины устало.**

Позади шли женщины — все в черном
и держали свечи тоже крепко.
Шли тяжелым шагом удрученным,
полные обманом уличенным.

И глядели женщины на свечи
и в неверном пламени дрожащем
видели детей худые плечи,
слышали мужей тупые речи.

Шли все вместе, улицы минуя,
матерью мадонну именуя,
и несли мадонну на носилках,
будто бы стоячую больную.

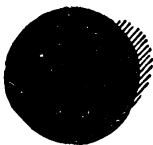
И мадонна, видимо, болела
равно и за девочек и женщин,
но мадонна, видимо, велела,
чтобы был такой порядок вечен.

Я смотрел, идя с мадонной рядом,
ни светло, ни горестно на свечи,
а каким-то двуединым взглядом,
полным и надеждою и ядом.

Так вот и живу — необрученным
и уже навеки обреченным
где-то между девочками в белом
и седыми женщинами в черном.



Сицилия



СЕНЕГАЛЬСКАЯ БАЛЛАДА,

**НАПИСАННАЯ ОТ ЛИЦА МОЕГО ДРУГА — ПОЭТА ИЗ
ЮЖНО-АФРИКАНСКОГО СОЮЗА, ПОЛЮБИВШЕГО НА
СЕНЕГАЛЬСКОМ ФЕСТИВАЛЕ БЕЛУЮ АМЕРИКАНСКУЮ
ДЕВУШКУ ИРЛАНДСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

1

Сенегал,

я ныряю на дно кабаков

без советчиков и стукачей,

в синяках

от чумных,

начиненных нечаянностями ночей.

И плюю

на ханжей всего мира подводного —

этих и тех,

и плову

среди стеблей подводных —

лилово мерцающих тел.

Голоса,

две мулатки трясутся на сцене

и падают ниц.

Так возьмись
перепрыгнуть и эту границу
и губы бездонные дай мне до дна.

Так вожмись
кожей в кожу,
и станут они как одна.

Ночь,
визжи!

В тебе что-то по пьянке опять,
словно атомный смерч, взорвалось,
и ножи
сумасшедшими рыбами пляшут
над водорослями волос.

Скрежеща,
стулья в воздух взлетают,
касететы врезаются с хрустом под дых.

Страшно, а!
Режут белые — черных
и черные — белых,
а желтые — тех и других.

Рев зверья,
а над свалкой,
как будто в библейских льняных облаках,
льдом звеня,
пляшет шейкер
у бармена в цепких бесстрастных руках.

Финкой в бок
и мартелем по морде кому-то,
а бармен над хряском костей и ногтей
— есть же бог! —
наши души сбивает
в заказанный богом столетьями раньше коктейль,

Над ворьем,
над зверьем

я за руку твою осторожно берусь.

Мы вдвоем.

«Не боишься!» — глазами вопрос,

и глазами ответ: «Не боюсь».

Что мне злость

всех бандитов на свете

и что приближенье конца,

если сквозь

эту страшную драку

ко мне приближенье лица!!

Отчего

эта драка!

Какое нам дело!

А может, все эти ножи

для того,

чтобы сблизило нас

и прижало друг к другу

в крутящейся смерчем ночи.

Что любовь?

Это ты,

это я,

над кастетами,

выстрелами,

надо всем.

Что любовь?

Это вечное НАД

поножовщиной рас,

предрассудков,

сословий,

СИСТЕМ.

Что любовь!
Это вечное ВНЕ

всяких драк,

всяких свалок

Ромео с Джульеттой сою

Что любовь!

«Не боишься!» — глазами вопрос,

и глазами ответ: «Не боюсь».

2

Я пришел провожать

с парой темных беспомощных рук —

не с цветами.

Мой ирландыш, прощай навсегда...

Ну а может...

А вдруг!

До свиданья!

Твое имя пребудет во мне

и в последний мой час

свято,

Ланни.

Хоть бы раз мы увиделись в жизни еще,

хоть бы раз...

«До свиданья!»

«Самолет на Париж,

самолет на Париж, господа!»

...В каравеллу

чемоданчик плывет,

как по серой реке в никуда,

по конвейеру.

Мы прижались друг к другу
затерянно, как дикари,
в тарараме
спекулянтов гашишем,
идеями,
девками,
и
даже нами.
Мы бессильны с тобой,
ну а может, мы просто малы
и безвольны!
На руках у меня,
на ногах у меня — кандалы,
лишь
без звона.
Уступаю тебя,
да и ты уступаешь меня,
как в бою
отступая...
Кандалы на руках
и сквозь белую кожу твою
проступают.
Мы — невольники века,
невольники
наших правительств
и рас.
Всюду —
пути.
Настоящей свободы —
ее ни у нас,
ни у вас —
лишь минуты.

Тихая,
нянчишь,
нянчишь,
нянчишь
чьих-то детишек
и плачешь опять.
Что же себя укоряешь нещадно!
Может, действительно бог для людей
создал несчастья,
несчастья,
несчастья.
чтобы мы делались чище,
добрей?!
...Она была первой,
первой,
первой
красавиц в архангельских кабаках.
Она была стервой,
стервой,
стервой
с лаком серебряным на коготках.



БАЛЛАДА О БРАКОНЬЕРСТВЕ

Несмотря на запрещение, некоторые рыболовецкие артели ведут промысловый лов рыбы сетями с зауженными ячейками. Это приводит к значительному уменьшению рыбных богатств.

(Из газет)

Киношники и репортеры

просто насквозь пропотели,

снимая владыку Печоры —

тебя, председатель артели,

лицо такое простое,

улыбку такую простую,

на шевиотовом лацкане

рыбку твою золотую.

Ты куришь «Казбек», председатель.

Ты поотвык от махорки.

Шныряют везде на Печоре

твои, председатель, моторки.

Твои молодцы расставляют,

где им приказано, сети.

В инязе и на физмате

твои, уже взрослые, дети.

И ты над покорной Печорой,
над тундрой, еще полудикой,
красиво стоишь, председатель,
взаправду владыка владыкой,
и звезды на небе рассветном
тают крупинками соли,
словно на розовой, сочной,
свежеразрезанной семге.
Под рамками грамот почетных
в пышной пуховой постели
праведным сном трудолюба
ты спишь, председатель артели.
В порядке твое здоровье.
В порядке твои отчеты.
Но вслушайся, председатель,—
доносится шепот с Печоры:
«Я семга.
Я шла к океану.
Меня перекрыли сетями.
Сработано было ловко!
Я гибну в сетях косяками.
Я не прошу, председатель, чтобы ты был церемонным.
Мне на роду написано
быть на тарелке с лимоном.
Но что-то своим уловом
ты хвалишься слишком речисто.
Правда, я только рыба,
но вижу — дело нечисто.
Правила честной ловли
разве тебе незнакомы?
В сетях ты заузил ячейки.
Сети твои — незаконны!

И ежели невозможно
 жить без сетей на свете,
то пусть тогда это будут
 хотя бы законные сети.
Старые рыбы впутались —
 выпутаться не могут,
но молодь запуталась тоже —
 зачем же ты губишь молодь!
Сделай ячейки пошире —
 так невозможно узко! —
пусть подурачится молодь
 прежде, чем стать закуской.
Сквозь чертовы эти ячейки
 на вольную волю жадно
она продирается все же,
 себе разрывая жабры.
Но молодь, в сетях побывавшая,—
 это уже не молодь.
Во всплесках ее последних
 звучит безнадежная мертвость.
Послушай меня, председатель,—
 ты сядешь в грязную лужу.
Чем уже в сетях ячейки —
 тебе, председатель, хуже.
И если даже удастся
 тебе избежать позора,
скажи, что будешь ты делать,
 когда опустеет Печора!»
Грохая тяжко крылами,
 лебеди пролетели.
Хмуро глаза продирая,
 встает председатель артели.

Он злится на сон проклятый:

«Ладно — пусть будет мне хуже!» —

и зычно орет подручным:

«Сделать ячейки уже!»

Валяйте, спешите, ребята,

киношники и репортеры,

снимайте владыку Печоры,

снимайте убийцу Печоры!





Ну разве может быть у шкурника,
у прохиндея, торгаша
душа бродяги и ушкуйника —
исконно русская душа!

Но за водчонкой и закускою,
на хлеб насыпавши сольцы,
«Люблю природу нашу русскую...» —
вздыхают часто подлецы.

И едут к зарослям и порослям,
все вздыхая о Руси,
чтоб отдохнуть от прежних подлостей,
для новых — силы обрести.

Но, подозрительно зажавшаяся,
природа чувствует всегда
тупых, завравшихся, зажавшихся
и гневно прячется в себя.

**Когда, лоснясь, охотой балуется
самоуверенный долдон,
цветы ему не улыбаются,
хоть он в обратном убежден.**

**Когда стукач с невинным спиннингом
фальшиво песенки мычит,
то лес глядит угрюмым схимником,
лес изучающе молчит.**

**Они к природе обращаются,
ну а не ведают о том,
что вся природа отвращается
от них с презреньем и стыдом.**



ЭСТРАДА

Проклятие мое,
души моей растрата —
эстрада...

Я молод был.
Хотел на пьедестал,
хотел аплодисментов и букетов,
когда я вышел
и неловко стал
на тальке, что остался от балеток.
Мне было еще нечего сказать,
а были только звон внутри
и горло,
но что-то сквозь меня такое перло,
что невозможно сценою сковать.
И голосом ломавшимся моим
ломавшееся время закричало,
и время было мной,
и я был им,
и что за важность,
кто был кем сначала.

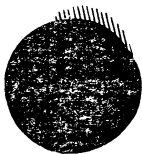
И на эстрадной огненной черте
вошла в меня невысказанность залов,
как будто бы невысказанность зарев,
которые таились в темноте.
Эстрадный жанр перерастал в призыв,
и оказалась чем-то третьим слава.
Как в библии,
 вначале было слово,
ну, а потом —
 сокрытый в слове взрыв.
Какой я Северянин,
 дураки!
Слабы, конечно, были мои кости,
но на лице моем
 сквозь желваки
прорезывался грозно Маяковский.
И, золотая вся от удалства,
дыша пшеничной ширью полевою,
Есенина шальная голова
всходила над мсею головою.
Учителя,
 я вас не посрамил,
и вам я тайно все букеты отдал.
Нам
 вместе
 аплодировал весь мир:
Париж, и Гамбург,
 и Мельбурн,
 и Лондон.
Но что со мной ты сделала —
 ты рада,
эстрада!!

За что такая страшная награда —
эстрада!

«Прощай, эстрада...» —
тихо прошепчу,
хотя забыл я, что такое шепот.
Уйду от шума в шелесты и шорох,
прижмусь березке к слабому плечу,
но, помощи потребовав моей,
как требует предгрозы взрыва,
взлома,
невысказанность далей и полей
подкатит к горлу,
сплавливаясь в слово.

Униженность и мертвых и живых
на свете,
что еще далек до рая,
потребует,
из связок горловых
мой воспаленный голос выдирая.
Я вас к другим поэтам не ревную.
Не надо ничего — я все отдам,
и глотку
да и голову шальную,
лишь только б лучше в жизни было вам!
Конечно, будет ясно для потомков,
что я —
увы! —
совсем не идеал,
а все-таки,
пусть грубо или тонко,
но чувства добрые я лирой пробуждал.

И прохриплю,
 когда иссякших сил,
пожалуй, и для шепота не будет:
«Эстрада,
 я уж был какой я был,
а так ли жил —
 пусть бог меня рассудит».
И я сойду во мглу с тебя без страха,
эстрада...

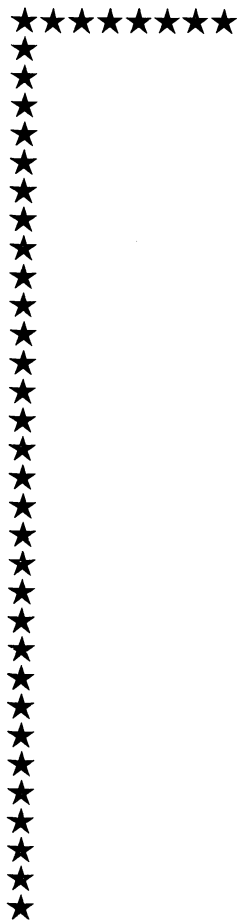


ШУТЛИВОЕ

Меняю славу на бесславье,
ну, а в президиуме стул
на место теплое в канаве,
где хорошенько бы заснул.
Уж я бы выложил всю душу,
всю мою смертную тоску
вам, лопухи, в седые уши,
пока бы ерзал на боку.
И я проснулся бы, небритый,
среди вас, букашки-мураши,
ах, до чего ж незначимый —
ну хоть «Цыганочку» пляши.
Вдали бы кто-то рвался к власти,
держался кто-нибудь за власть,
а мне-то что до той напасти,—
мне из канавы не упасть.
И там в обнимку с псом лишайным
в такой приятельской пыли
я все лежал бы и лежал бы
на высшем уровне — земли.

**И рядом плыли бы негрешно
босые девичьи ступни,
возы роняли бы небрежно
травинки бледные свои.
...Швырнет курильщик со скамейки
в канаву смятый коробок,
и мне углами губ с наклейки
печально улыбнется Блок.**





||



БРАТСКАЯ ГЭС

Поэма

МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ

*Поэт в России — больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит
гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.*

*Поэт в ней — образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.*

*Сумею ли? Культуры не хватает...
Нахватанность пророчеств не сулит...
Но дух России надо мной витает
и дерзновенно пробовать велит.*

*И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты...*

*Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь —
как бы шаля, глаголом жечь.*

*Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,
своей презрительности яд
и келью замкнутой души,
где дышит, скрытая в тиши,
недоброты твоей сестра —
лампада тайного добра.*

*Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей —
у парадных подъездов, у рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу.
Дай мне подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой.*

ПРОЛОГ

**За тридцать мне. Мне страшно
по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топлю в подушке, стыдно плачу,
что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же ее трачу.
Когда б вы знали, критики мои,
чья доброта безвинно под вопросом,
как ласковы разносные статьи
в сравненьи с моим собственным
разносом,
вам стало б легче, если в поздний час
несправедливо мучит совесть вас.
Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,**

понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.

Соперники мои, отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех одна и та же есть
болезнь души.

Поверхностность ей имя.
Поверхностность, ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты!
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола! —
И мы не потому ли так спешим,
снимая внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей — вникнуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несем, как сокровенья,
не из расчета хладного — нет, нет! —
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полет, на битвы,
и перьями домашних наших крыл
подушки подлецов уже набиты...

Метался я... Швыряло взад-вперед
меня от чьих-то всхлипов или стонов
то в надутую бесполезность од,
то в ложную полезность фельетонов.

**Кого-то оттирал всю жизнь плечом,
а это был я сам. Я в страсти пылкой,
наивно топоча, сражался шпилькой,
где следовало действовать мечом.
Преступно инфантилен был мой пыл.
Безжалостности полной не хватало,
а значит, полной жалости...**

**Я был
как среднее из воска и металла
и этим свою молодость губил.**

**Пусть каждый входит в жизнь под сим
обетом
помочь тому, что долженствует цвество,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило мести!
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
и самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхностность — убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недуг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.**

**Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозренье века, четком и простом!!..**

...Я ехал по России вместе с Галей,
куда-то к морю в «Москвиче» спеша
от всех печалей...

Осень русских далей
пообок золотела все усталей,
листами под покрышками шурша,
и отдыхала за рулем душа.

Дыша степным, березовым, соснистым,
в меня швырнув невысказанный массив,
на скорости за семьдесят, со свистом,
Россия обтекала наш «Москвич».
Россия что-то высказать хотела
и что-то понимала, как никто.
Она «Москвич» вжимала в свое тело
и втягивала в самое нутро.
И, видимо, с какою-то задумкой,
скрывающей до срока свою суть,
мне подсказала сразу же за Тулой
на Ясную Поляну повернуть.

И вот в усадьбу, дышащую ветхо,
вошли мы, дети атомного века,
спешащие, в нейлоновых плащах,
и замерли, внезапно оплошав.
И, ходоков за правдою потомки,
мы ощутили вдруг в минуту ту
все те же, те же на плечах котомки
и тех же ног разбитых босоту.
Немому повинуюсь повелению,
закатом сквозь листву просквожены,

вступили мы в тенистую аллею
по имени «Аллея Тишины».
И эта золотая просквоженность,
не удаляясь от людских недоль,
сняла суету, как прокаженность,
и, не снимая, возвышала боль.
Боль, возвышаясь, делалась прекрасной,
в себе соединив покой и страсть,
и дух казался силою всевластной,
но возникал в душе вопрос бесстрастный
а так ли уж всевластна эта власть?
Добились ли каких-то изменений
все те, кому от нас такой почет,
чей дух обширней наших измерений?
Добились! Или все, как встарь, течет!

А между тем — усадьбы той хозяин,
невидимый, держал нас на виду
и чудился вокруг: то проскользая
седобородым облаком в пруду,
то слышался своей походкой крупной
в туманности дымящихся лощин,
то часть лица являл в коре огрублой,
изрезанной ущельями морщин.
Космато его брови прорастали
в дремучести бурьянной на лугу,
и корни на тропинках проступали,
как жилы на его могучем лбу.
И, не ветшая,— царственно древняя,
верша вершинным шумом колдовство,
вокруг вздымались мощные деревья,
как мысли неохватные его.

Они стремились в облака и недра,
шумели все грознее и грозней,
и корни их вершин росли из неба,
вглубь уходя вершинами корней...

Да, ввысь и вглубь — и лишь
одновременно!

Да, гениальность — выси с глубиью связь!

Но сколько живут все так же бrenно,
в тени великих мыслей суетясь...

Так что ж, напрасно гениям горелось
во имя изменения людей?

И, может быть, идей неустарелость —
свидетельство бессилия идей!

Который год уже прошел, который,
а наша чистота, как во хмелю,
бросается Наташею Ростовой
к лжеопыту — повесе и вралю!

И вновь и вновь — Толстому в укоренье —
мы забываем, прячась от страстей,
что Вронский — он черствее, чем Каренин,
в мягкосердечной трусости своей.

А сам Толстой! Собой же поколеблен,
он своему бессилью не пример, —
беспомощно метавшийся, как Левин,
в благонаивном тщанье перемен!..

Труд гениев порою их самих
пугает результатом подсомненным,
но обобщенья каждого из них,
как в битве, — сантиметр за сантиметром.

**Три величайших имени России
пусть нас от опасений оградят.
Они Россию заново родили
и заново не раз ее родят.**

**Когда и безъязыко и незряче
она брела сквозь плети, батожье,
явился Пушкин просто и прозрачно,
как самоосознание ее.**

**Когда она усталыми глазами
искала своих горестей исток,—
как осмысленье зревшего сознанья,
пришел Толстой, жалеюще жесток,
но — руки заложив за ремешок.**

**Ну, а когда ей был неясен выход,
а гнев необратимо вызревал,—
из вихря Ленин вырвался, как вывод,
и, чтоб ее спасти, ее взорвал!**

**Так думал я запутанно, пространно,
давно оставив Ясную Поляну
и сквозь Россию мчась на «Москвиче»
с любимой, тихо спящей на плече.**

**Сгущалась ночь, лишь слабо розовеясь
по краешку...**

Летели в лоб огни.

Гармошки заливались.

**Рыжий месяц
заваливался пьяно за плетни.**

**Свернув куда-то в сторону с шоссе,
затормозил я, разложил сиденья,
и мы поплыли с Галей в сновиденья
сквозь наважденья звезд — щека к щеке...**

**Мне снился мир
без немощных и жирных,
без долларов, червонцев и песет,
где нет границ, где нет
правительств лживых,
ракет и дурно пахнущих газет.
Мне снился мир, где все так первозданно
топорщится черемухой в росе,
набитой соловьями и дроздами,
где все народы в братстве и родстве,
где нет ни клеветы, ни поруганий,
где воздух чист, как утром на реке,
где мы живем, навек бессмертны,
с Галей,
как видим этот сон — щека к щеке...**

**Но пробудились мы...
«Москвич» наш дерзко
стоял на пашне, ткнувшийся в кусты.
Я распахнул продрогнувшую дверцу,
и захватило дух от красоты.
Над яростной зарею, красной, грубой,
с сигаркой, сжатой яростно во рту,
вел самосвал парнишка стальнотубый,
вел яростно на яростном ветру.**

**И яростно, как пламенное сопло,
над чернью пашен, зеленью лугов
само себя выталкивало солнце
из яростно вцепившихся стогов.
И облетали яростно деревья,
и, яростно скача, рычал ручей,
и синева, алея и ярея,
качалась очумело от грачей.
Хотелось так же яростно ворваться,
как в ярость, в жизнь, раскрывши ярость
крыл...**

Мир был прекрасен.

**Надо было драться
за то, чтоб он еще прекрасней был!**

**И снова я вбирал, припав к баранке,
в глаза неутолимые мои
Дворцы культуры.**

Чайные.

Бараки.

Райкомы.

Церкви.

И посты ГАИ.

Заводы.

Избы.

Лозунги.

Березки.

Треск реактивный в небе.

Тряск возков.

Глушилки.

**Статуэтки-переростки
доярков, пионеров, горняков.**

Глаза старух, глядящие иконно.
Задастость баб.

Детишек ералаш.

Протезы.

Нефтевышки.

Терриконы,
как груди возлежащих великанш.
Мужчины трактора вели. Пилили.
Шли к проходной, спеша потом к станку.
Проваливались в шахты. Пиво пили,
располагая соль по ободку.
А женщины кухарили. Стирали.
Латали, успевая все в момент.
Малярили. В очередях стояли.
Долбили землю.

Волокли цемент.

Смеркалось вновь.

«Москвич» был весь росистый,
и ночь была звездами всклень полна,
а Галя доставала наш транзистор,
антенну выставляя из окна.
Антенна упиралась в мирозданье.
Шипел транзистор в Галиных руках.
Оттуда,

не стыдясь перед звездами,
шла бодро ложь на стольких языках!
О шар земной, не лги и не играй!
Ты сам страдаешь — больше лжи не надо!
Я с радостью отдам загробный рай,
чтоб на земле поменьше было ада!

Машина по ухабам бултыхалась.
(Дорожники, ну что ж вы, стервецы!)
Могло казаться, что вокруг был хаос,
но были в нем «начала» и «концы».
Была Россия —

первая любовь
грядущего...

И в ней, вовек нетленно,
запенивался Пушкин где-то вновь,
загустевал Толстой, родился Ленин.
И, глядя в ночь звездастую, вперед,
я думал, что в спасительные звенья
связуются великие прозренья
и, может, лишь звена недостает...
Ну что же, мы живые.

Наш черед.



МОНОЛОГ ЕГИПЕТСКОЙ ПИРАМИДЫ

Я —

египетская пирамида.

Я легендами перевита.

И писаки

меня

разглядывают,

и музеи

меня

раскрадывают,

и ученые возятся с лупами,

пыль пинцетами робко сколупывая,

и туристы,
 потя,
 теснятся,
чтоб на фоне бессмертия сняться.

Отчего же пословицу древнюю
повторяют феллахи и птицы,
что боятся все люди

 времени,
а оно —

 пирамид боится!
Люди, страх вековой укротите!
Стану доброй,

 только молю:
украдите,

 украдите,
украдите память мою!
Я вбираю в молчанье суровом
всю взрывную силу веков.
Кораблем космическим

 с ревом
отрываюсь

 я
 от песков.

Я плыву марсианским таинством
над землей,

 над людьми-букашками,
лишь какой-то туристик болтается,
за меня: зацепившись подтяжками.
Вижу я сквозь нейлонно-неоновое:
государства лишь внешне новы.

Все до ужаса в мире не новсе —
тот же древний Египат —

увы!

Та же подлость в ее оголнении.

Те же тюрьмы —

только современные.

То же самое угнетение,
только более лицемерное.

Те же воры,

жадюги,

сплетники,

торгаши...

Переделать их!

Дудки!

Пирамиды недаром скептики.

Пирамиды —

они не дуры.

Облака я углами раздвину

и прорежусь,

как призрак,

из них.

Ну-ка, сфинкс под названьем Россия,

покажи свой таинственный лик!

Вновь знакомсе вижу воочию —

лишь сугробы вместо песков.

Есть крестьяне,

и есть рабочие,

и писцы —

очень много писцов.

Есть чиновники,

есть и армия.

Есть, наверное, свой фараон.

Вижу знамя какое-то...

Алоё!

А,—

я столько знавала знамен!

Вижу,

здания новые грудятся,

вижу,

горы встают на дыбы.

Вижу,

трудятся...

Невидаль — трудятся!

Раньше тоже трудились рабы...

Слышу я —

шумит первобытно

их

тайгой называемый

лес.

Вижу что-то...

Никак пирамида!

«Эй, ты кто!» —

«Я — Братская ГЭС». —

«А, слыхала:

ты первая в мире

и по мощности

и т. п.

Ты послушай меня,

пирамиду.

Кое-что расскажу я тебе.

Я, египетская пирамида,

как сестре, тебе душу открою.

Я дождями песка перемыта,

но еще не отмыта от крови.

Я бессмертна,
но в мыслях безверье,
и внутри все кричит и рыдает.
Проклинаю любое бессмертье,
если смерти —
его фундамент!

Помню я,
как рабы со стонами
волокли под плетьюми и палками,
поднатужась,
глыбу стонную
по песку
на полозьях пальмовых.

Встала глыба...

Но в поисках выхода
им велели без всякой запинки
для полозьев ложбинки выкопать
и лечь в эти ложбинки.
И ложились рабы в покорности
под полозья:

так бог захотел...

Сразу двинулась глыба

по скользкости
их раздавливаемых тел.
Жрец являлся...

С ухмылкой пакостной
озирая рабов труды,
волосок, умощеньями пахнущий,
он выдергивал из бороды.
Самолично он плетью сек
и визжал:

«Переделывать, гниды!» —

если вдруг проходил волосок
между глыбами пирамиды.

И —

наискосок

в лоб или висок:

«Отдохнуть часок!

Хлеба хоть кусок!

Жрите песок!

Пейте сучий сок!

Чтоб — ни волосок!

Чтоб — ни волосок!»

А надсмотрщики жрали,

толстели

и плетью свою песню свистели.

ПЕСНЯ НАДСМОТРЩИКОВ

Мы надсмотрщики,

мы —

твои ножки,

трон.

При виде нас

морщится

брезгливо

фараон.

А что он без нас!

Без наших глаз!

Без наших глоток!

Без наших плеток!



Плетка —
 лекарство,
хотя она не мед.
Основа государства —
надсмотр,
 надсмотр.
Народ без назидания
работать бы не смог.
Основа созидания —
надсмотр,
 надсмотр.
И воины, раскиснув,
бежали бы, как сброд.
Основа героизма —
надсмотр,
 надсмотр.
Опасны, кто задумчивы.
Всех мыслящих —
 к заклянью.
Надсмотр за душами
важней,
 чем за телами.
Вы что-то загалдели!
Вы снова за нитье!
Свободы захотели!
А разве нет ее!
{И звучат не слишком бодро
голоса:
 «Есть!
 Есть!» --
то ли есть у них свобода,
то ли хочется им есть.}

Мы —
надсмотрщики.
Мы гуманно грубые.
Мы вас бьем не до смерти,
для вашей пользы, глупые.
Плетками
по черным
спинам
рубя,
внушаем:
«Почетна
работа
раба».
Что о свободе грезить!
Имеете вы, дурни,
свободу —
сколько влезет
молчать,
о чем вы думаете.
Мы — надсмотрщики.
С нас тоже
пот ручьем.
Рабы,
вы нас не можете
упрекнуть
ни в чем.
Мы смотрим настороженно.
Мы псы —
лишь без намордников.
Но ведь и мы,
надсмотрщики,—
рабы других надсмотрщиков.



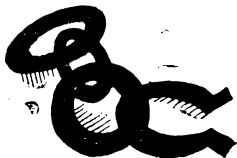
А над рабами стонущими,
раб Амона он —
надсмотрщик всех надсмотрщиков,
наш бедный фараон...

ПИРАМИДА ПРОДОЛЖАЕТ:

Но за рабство рабы не признательны.
Несознательны рабы,
несознательны.
Им не жалко надсмотрщиков,
рабам,
им не жалко фараона,
рабам,—
на себя не хватает жалости.
И проходит стон по рядам,
стон усталости.

ПЕСНЯ РАБОВ

Мы рабы... Мы рабы... Мы рабы...
Как земля, наши руки грубы.
Наши хижины — наши гробы.
Наши спины тверды, как горбы.
Мы животные. Мы для косьбы,
молотьбы, а еще городьбы
пирамид,— возвеличить дабы
фараонов надменные лбы.
Вы смеетесь во время: гульбы
среди женщин, вина, похвальбы,



ну, а раб — он таскает столбы
и камней пирамидных кубы.
Неужели нет сил для борьбы,
чтоб когда-нибудь встать на дыбы!
Неужели в глазах голытьбы —
предначертанность вечной судьбы
повторять: «Мы рабы... Мы рабы...»!

ПИРАМИДА ПРОДОЛЖАЕТ:



А потом рабы восставали,
фараонам за все воздавали,
их швыряли под ноги толп...
А какой из этого толк!
Я,

египетская пирамида,
говорю тебе,

Братская ГЭС:

сколько в бунтах рабов перебито,
но не вижу я что-то чудес.
Говорят,

уничтожено рабство...

Не согласна:

еще мощней

рабство

всех предрассудков расовых,

рабство денег,

рабство вещей.

Да,

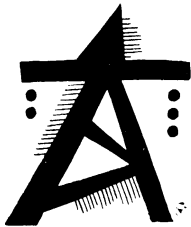
цепей старомодных нет,

но другие на людях цепи —

Президенту надоедает,
что над ним
 чье-то «надо!» вивает,
но бороться поздно:
 в их лести
кулаки увязают,
 как в тесте.
Президент сопит обессиленно:
«Ну вас к черту!
 Все опостылело...»
Гаснут в нем благородные страсти...
Кто он!
 Раб своей собственной власти.

Ты подумай,
 Братская ГЭС,
в скольких людях —
 забитость, запуганность.
Люди,
 где ваш хваленый прогресс!
Люди, люди,
 как вы запутались!
Наблюдаю гранями строгими
и потрескавшимися сфинксами
и за столькими вашими стройками,
и за столькими вашими свинствами.
Вижу:
 дух человеческий слаб.
В человеке
 нельзя
 не извериться.

Человек —
по природе раб.
Человек
никогда не изменится.
Нет,
отказываюсь наотрез
ждать чего-то...
Прямо,
открыто
говорю это,
Братская ГЭС,
я, египетская пирамида.



МОНОЛОГ БРАТСКОЙ ГЭС

Пирамида,
я дочь России,
непонятной тебе земли.
Ее с детства плетью крестили,
на клочки разрывали,
жгли.
Ее душу ногами топтали,
наноса за ударом удар,
печенег,
варяги,
татары
и свои —
пострашнее татар.
И лоснились у воронов перья,
над костями выросло былье,

и сложилось на свете поверье
о великом терпенье ее.

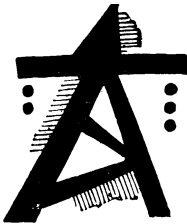
Прославлено терпение России.
Оно до героизма доросло.
Ее, как глину, на крови месили,
ну, а она терпела, да и все.
И бурлаку, с плечом, протертым лямкой,
и пахарю, упавшему в степи,
она шептала с материнской лаской
извечное: «Терпи, сынок, терпи...»
Могу понять, как столько лет Россия
терпела голода и холода,
и войн жестоких муки нелюдские,
и тяжесть непосильного труда,
и дармоедов, лживых до предела,
и разное обманное вранье,
но не могу осмыслить: как терпела
она само терпение свое!!
Есть немощное, жалкое терпенье.
В нем полная забитость естества,
в нем рабская покорность, отупенье...
России суть совсем не такова.
Ее терпенье — мужество пророка,
который умудренно терпелив.
Она терпела все...

Но лишь до срока,
как мина.

А потом
случался
взрыв!

ПЕРВАЛА ПИРАМИДА:

**Я против
всяких взрывов....
Навиделась я!
Колют,
рубят,
а много ли проку!
Только кровь проливается зря!**



БРАТСКАЯ ГЭС ПРОДОЛЖАЕТ:

**Зря!
Зову я на память прошлое,
про себя повторяя вновь
строки вещи:
«...дело прочно,
когда под ним струится кровь».
И над кранами,
эстакадами,
пирамида,
к тебе сквозь мошкú
поднимаю ковшом экскаватора
в кабаках и боярах Москву.
Погляди-ка:
в ковше,
над зубьями,
золотые
торчат купола.
Что случилось там?
Что насупленно
раззвонились колокола!**

КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Как во стольной Москве белокаменной
вор по улице бежит с булкой маковой.
Не страшит его сегодня самосуд.
Не до булок...

Стеньку Разина везут!

Царь бутылочку мальвазии выдаивает,
перед зеркалом свейским
прыщ выдавливает,
примеряет новый перстень-изумруд —
и на площадь...

Стеньку Разина везут!

Как за бочкой бокастой
бочоночек,
за боярыней катит боярчоночек.
Леденец зубенки весело грызут.
Нынче праздник!

Стеньку Разина везут!

Прет кулец,
треща с гороха.
Мчатся вскачь два скомороха.
Семенит ярыжка-плут...
Стеньку Разина везут!

В струпьях все,
едва живые,

старцы с вервием на вые,
что-то шамкая,

ползут...

Стеньку Разина везут!

И срамные девки тоже,
под хмельком вскочив с рогожи,
огурцом намазав рожки,
шпят рысью —

в ляжках зуд...

Стеньку Разина везут!

И под визг стрелецких жен,
под плевки со всех сторон
на расхристанной телеге
плыл

в рубахе белой

он.

Он молчал,

не утирался,

весь оплеванный толпой,
только горько усмехался,
усмехался над собой:

«Стенька, Стенька,

ты как ветка,

потерявшая листву.

Как в Москву хотел ты въехать!

Вот и въехал ты в Москву...

Ладно,
 плюйте,
 плюйте,
 плюйте —
все же радость задарма.
Вы всегда плюете,
 люди,
в тех,
 кто хочет вам добра.
 А добра мне так хотелось
на персидских берегах
и тогда,
 когда летелось
вдоль по Волге на стругах!
Что я ведал!
 Чьи-то очи,
саблю,
 парус
 да седло...
Я был в грамоте не очень...
Может, это подвело!
Дьяк мне бил с оттяжкой в зубы,
приговаривал,
 ретив:
«Супротив народа вздумал!
Будешь знать, как супротив!»
Я держался, глаз не прятал.
Кровью харкал я в ответ:
«Супротив боярства —
 правда.
Супротив народа —
 нет».



От себя

**не отрекаюсь,
выбрав сам себе удел.
Перед вами,**

**люди, каюсь,
но не в том,
что дьяк хотел.**

**Голова моя повинна.
Вижу,**

**сам себя казня:
я был против —
половинно,
надо было —
до конца.**

Нет,

**не тем я, люди, грешен,
что бояр на башнях вешал.
Грешен я в глазах моих
тем, что мало вешал их.
Грешен тем,**

**что в мире злобства
был я добрый остолоп.
Грешен тем,**

**что, враг холопства,
сам я малость был холоп.
Грешен тем,**

**что драться думал
за хорошего царя.
Нет царей хороших,
дурень...**

Стенька,

гибнешь ты зазря!»

Над Москвой колокола гудут,
К месту Лобному

Стеньку ведут.

Перед Стенькой,

на ветру полоща,

бьется кожаный передник палача,
а в руках у палача над толпой
голубой топор,

как Волга, голубой.

И плывут, серебрясь,

по тепору

струги,

струги,

будто чайки поутру...

И сквозь рыла,

ряшки,

хари

целовальников,

менял,

словно блики среди хмари,

Стенька

ЛИЦА

увидал.

Были в ЛИЦАХ даль и высь,

а в глазах,

угрюмо-вольных,

словно в малых тайных Волгах,

струги Стенькины неслись.

Стоит все терпеть бесслезно,

быть на дыбе,

колесе,

если рано или поздно

прорастают

ЛИЦА

грозно

у близких на лице...

И спокойно

(не зазря он, видно, жил)

Стенька голову на плаху положил,
подбородок в край изрубленный упер
и затылком приказал:

«Давай, топор...»

Покатилась голова,

в крови горя,

прохрипела голова:

«Не зазря...»

И уже по топору не струги —
струйки,

струйки...

Что, народ, стоишь, не празднуя!

Шапки в небо — и пляши!

Но застыла площадь Красная,
чуть колыша бердыши.

Стихли даже скоморохи.

Среди мертвой тишины
перескакивали блохи
с армяков

на шушуну.

Площадь что-то поняла,
площадь шапки сняла,
и ударили три раза,
клокоча,
колокола.

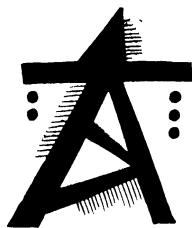
А от крови и чуба тяжела,
голова еще ворочалась,
жила.

С места Лобного подмоклого
туда,
где голытьба,
взгляды
письмами подметными
швыряла голова...

Суется,
дрожащий попик подлетел.
Веки Стенькины закрыть он хотел.
Но, напряжившись,
по-зверьи страшны,
оттолкнули его руку зрачки.
На царе
от этих чертовых глаз
зябко
шапка Мономаха затряслась,
и, жестоко, не скрывая торжества,
над царем
захотала
голова!..

БРАТСКАЯ ГЭС ПРОДОЛЖАЕТ:

Пирамида,
тебя расцарапало!
Ты очнись —
все это вдали,



а в поднятом ковше экскаватора
лишь горстища русской земли.
Но рокошет,

 неистребимое,
среди царства тайги и зверья
повторяемое турбинами
эхо Стенькиного

 «Не зазря...».

Погляди —

 на моих лопастях,
пузырясь,
 мерцая
 и лопаюсь,
совмещаясь,
 друг друга толкая,
исчезая и возникая,
среди брызг
 в голубом гуденье
за виденьем
 летит

 виденье...

**Вижу в пенной могучей музыке
Ангары**

 да и моря Братского —
Спартака,

 Яна Гуса,
 Мюнцера,

и Марата,

 и Джона Брауна.

**Катерами швыряясь и лодками,
волны валяются,**

 волоча

и рябую улыбку Болотникова
и цыганский оскал Пугача.
Проступают сквозь шивера
декабристские кивера.
Я всю душу России вытащу,
я всажу в столетия
бур.

Я из прошлого
светом
выхватчу
запурженный
Петербург.

ДЕКАБРИСТЫ

Над петербургскими домами,
над воспаленными умами
царя и царского врага,
над мешаниной свистов, матов,
церквей, борделей, казематов
кликушей корчилась пурга.

Пургу лохматили копыта.
Все было снегом шито-крыто.
Над белой зыбью мостовых
луна издерганно, испито,
как блюдце в пальцах у спирита,
дрожала в струях снеговых.

Какой-то ревностный служака,
солдат гоняя среди мрака,



учил их фрунту до утра,
учил «Ура!» орать поротно,
решив, что сущность патриота —
преподавание «Ура!».

Булгарин в дом спешил с морозцу
и сразу — к новому доносцу
на частных лиц и на печать.
Живописал не без полета,
решив, что сущность патриота —
как заяц лапами стучать.

Корпели цензоры-бедняги.
По вольномыслящей бумаге.
потя, ползали носы.
Носы выискивали что-то,
решив, что сущность патриота —
искать, как в шерсти ищут псы.

Но где-то вновь под пунш и свечи
вовсю крамольничали речи,
предвестьем вольности дразня.
Вбегал, в снегу и строчках, Пушкин...
В глазах друзей и в чашах с пуншем
плясали чертики огня.

И Пушкин, воздевая руку,
а в ней — трепещущую муку,
как дрожь невидимой трубы,
в забываемом наитье

**читал: «...мужайтесь и внимлите.
восстаньте, падшие рабы!»**

**Они еще мальчишки были,
из чубуков дымы клубили,
в мазурках вихрились легко.
Так жить бы им — сквозь поцелуи,
сквозь переплеск бренчащей сбруи,
и струи снега, и «Клико»!**

**Но шпор заманчивые звоны
не заглушали чьи-то стоны
в их опозоренной стране.
И гневно мальчишки мужали,
и по-мужски глаза сужали,
и шпагу шарили во сне.**

**А их в измене обвиняла
и смрадной грязью обливала
тупая свора стукачей.
О, всех болгаринных наивность!
Не в этих мальчишках таилась
измена родине своей.**

**В сенате сыто и надменно
сидела подлая измена,
произносся за речью речь,
ублюдков милостью дарила,
крестьян ласкающе давила,
чтобы потуже их запречь.**

Измена тискала указы.
Боялась правды, как проказы.
Боялась тех, кто нищ и сир.
Боялась тех, кто просто юны.
Страшась, прикручивала струны
у всех опасно громких лир.

О, только те благословенны,
кто, как изменники измены,
не поворачивая вспять,
идут на доски эшафота,
поняв, что сущность патриота —
во имя вольности восстать!



ПЕТРАШЕВЦЫ

Барабаны,
 барабаны...
Петрашевцев казнят!
Балахоны,
 балахоны,
словно саваны,
 до пят.
Холод адский,
 строй солдатский,
и ОНИ —
 плечом к плечу.
Пахнет площадью Сенатской
на Семеновском плацу.

Тот же снег —
 пластом слепящим,
и пурги все той же свист.
В каждом русском настоящем
где-то спрятан декабрист.
Барабаны,
 барабаны...
Нечет-чет,
 нечет-чет...
Еще будут баррикады,
а пока что
 эшафот.
А пока что —
 всполшенно,
мглою
 свет Руси казня,
капюшоны,
 капюшоны
надвигают на глаза.
Но один,
 пургой обвитый,
молчалив и отрешен,
тайно всю Россию видит
сквозь бессильный капюшон.
В ней, разодран,
 перекошен
среди призраков,
 огней,
плача,
 буйствует Рогожин.
Мышкин мечется по ней.
Среди банков и лабазов,

среди тюрем и сирот
в ней Алеша Карамазов
тихим иноком бредет.

Палачи,—

неукосянимо
не дает понять вам страх,
что у вас —

не у казнимых —
капюшоны на глазах.
Вы не видите России,
ее голи,

босоты,
ее боли,
ее силы,
ее воли,
красоты...

Кони в мыле,

кони в мыле!
Скачет царский указ!
Казнь короткую сменили
на пожизненную казнь...
Но лишь кто-то

жалко-жалко
в унижительном пылу,
балахон срывая жадно,
прокричал царю хвалу.
Торопился обалдело,
рвал крючки и петли он,
но, навек приросший к телу,
не снимался балахон.
Барабаны,
барабаны...

Тем, чья воля не тверда,
быть рабами,
 быть рабами,
быть рабами навсегда!
Барабаны,
 барабаны
и чины высокие...
Ах, какие балаганы
на Руси
 веселые!

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

И когда, с возка сошедший,
над тобою встал, толпа,
честь России — Чернышевский
у позорного столба,
ты подавленно глядела,
а ему была видна,
как огромное «Что делать!»,
с эшафота вся страна.
И когда ломали шпагу,
то в бездейственном стыде
ты молчала, будто паклю
в рот засунули тебе.

И когда солдат, потупясь,
неумелый, молодой,
«Государственный преступник»
прикрепил к груди худой,



что же ты, смиряя ропот,
не смогла доску сорвать!
Преступленьем стало — против
преступлений восставать.

Но светло и обреченно
из толпы наискосок
чья-то хрупкая ручонка
ему бросила цветок.

Он увидел чьи-то косы
и ручонку различил
с золотым пушком на коже,
в блеклых пятнышках чернил.

После — худенькие плечи,
бедный ситцевый наряд
и глаза, в которых свечи
декабристские горят.

И с отцовской тайной болью
он подумал: будет срок,
и неловко бросит бомбу
та, что бросила цветок.

И, тревожен и задумчив,
видел он в тот самый день
тени Фигнер и Засулич,
и халтуринскую тень.

Он предвидел перед строем,
глядя в сумрачную высь:
бомба мир не перестроит,
только мысль — и только мысль!

Встанет кто-то, яснолобый —
он уже невдалеке! —
с мыслью — самой страшной бомбой
в гневно поднятой руке!

ЯРМАРКА В СИМБИРСКЕ

Ярмарка!
 В Симбирске ярмарка!
Почище Гамбурга!
 Держи карман!
Шарманки шамкают,
 а шали шаркают,
и глотки гаркают:
 «К нам,
 к нам!»
В руках приказчиков
 под сказки-присказки
воздушны соболи,
 парча тяжка,
а глаз у пристава
 косится пристально
и на «селечке»¹ —
 перчаточка.

¹ Полицейская шашка (жарг.).

Но та перчаточка
 в момент с улыбочкой
взлетает рыбочкой
 под козырек,
когда в пролеточке
 с какой-то цыпочкой,
иказ, катит
 икорный бог.
И богу нравится,
 как расступаются
платки,
 треухи
 и картузы,
и, намалеваны
 икрою паусной,
под носом дамочки
 блестят усы.
А зазывалы рокочут басом.
Торгуют юфтью,
 шевром,
 атласом,
прокисшим квасом,
 пречистым Спасом,
протухшим мясом
 и Салиасом ¹.

И, продав свою картошку
да хвативши первача,
баба ходит под гармошку,
еле ноги волоча.

¹ С а л и а с — популярный в то время среди мещанства писатель.

И поет она,
 предерзостная,
всё захмелевая,
шаль за кончики придерживая,
будто молодая:

«Я была у Оки,
сла я-бо-ло-ки,
с виду золоченые —
в слезыньках моченые.

Я почапала на Каму.
Я в котле сварила кашу.
Каша с Камою горька.
Кама — слезная река.

Я поехала на Яик,
села с миленьким на ялик.
По верхам и по низам —
всё мы плыли по слезам.

Я пошла на тихий Дон.
Я купила себе дом.
Чем для бабы не уют!
А сквозь крышу слезы льют...»

Баба крутит головой,
все в глазах качается.
Хочет быть молодой,
а не получается.

**И гармошка то заляется,
то вопьется,
как репей...
Пей, Россия,
ежли пьется,
только душу не пропей!..**

**Ярмарка!
В Симбирске ярмарка!
Гуляй,
кому гуляется!
А баба пьяная
в грязи валяется.**

**В тумане плавая,
царь похваляется...
А баба пьяная
в грязи валяется.**

**Корпя над планами,
министры маются...
А баба пьяная
в грязи валяется.**

**Кому-то памятник
подготавливается...
А баба пьяная
в грязи валяется.**

И мещаночки,
 ресницы приспустив,
мимо,
 мимо:
 «Просто ужас!
 Просто стыд!»

И лабазник
 стороною,
мимо,
 а из бороды:
«Вот лежит...
 А кто виною!
Все студенты
 да жида...»

И философ-горемыка
ниже шляпу на лоб
и, страдая гордо,—
 мимо:
«Грязь —
 твоя судьба, народ!»

Значит, жизнь такая подлая —
лежи
 и в грязь вставляй!!
Но кто-то бабу под локоть
и тихо ей:
 «Вставай...»

Ярмарка!
 В Симбирске ярмарка!

Качели в сини,
и визг,
и свист,
и, как гусыни,
купчихи яростно:
«Мальчишка с бабою...
Гимназист!»
Он ее бережно ведет за локоть,
он и не думает, что на виду.
«Храни Христос тебя,
яснолобый,
а я уж как-нибудь сама дойду...»
И он уходит,
идет вдоль барок
над вешней Волгой,
и, вслед грустя,
его тихонечко крестит баба,
как бы крестила свое дитя.
Он долго бродит...
Вокруг все пасмурней...
Охранка —
белкою в колесе.
Но как ей вынюхать,
кто опаснейший,
когда опасны в России все!
Охранка, бедная,
послушай, милая:
всегда опасней, пожалуй, тот,
кто остановится,
кто просто мимо
чужой растоптанности
не пройдет.

А Болга мечется,
хрипя,
постанывая.

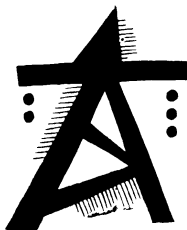
Березки светятся
над ней во мгле,
как свечки робкие,
землей поставленные,
за настрадавшихся на земле.

Ярмарка!
В России ярмарка!
Торгуют совестью,
стыдом,
людьми,
суют стекляшки, как будто вхонты,
и зазывают
на все лады.

Тебя, Россия, вконец растрачивали
и околпачивали в кабаках,
но те, кто ввали и одурачивали,
еще останутся в дураках!

Тебя, Россия, вконец опутывали,
но не для рабства ты родилась.
Россию Разина,
Россию Пушкина,
Россию Герцена
не втопчут в грязь!

Нет,
ты, Россия,
не баба пьяная!



Тебе великая дана судьба,
и если даже ты стонешь,
падая,
то поднимаешь сама себя!

Ярмарка!

В России ярмарка!
В России рай,
а слез — по край,
но будет мальчик —
он снова
явится —
и скажет праведное:
«Вставай...»

*БРАТСКАЯ ГЭС
ОБРАЩАЕТСЯ К ПИРАМИДЕ:*

Пирамида,

снова и снова
утверждаю с пеной у рта:
революций первооснова
есть не злоба,
а доброта.
Если слезы сквозь крыши льются,
строй лишь внешне несокрушим,
и заваривается
революция,
и заваливается
режим.
Вот я вижу: летят воззвания,
уголь — мастеру-гаду в рот,

и во мне — не воды взывания,
а неистовых стачек рев.
И Россия идет к избавленью,
кровью тысяч землю багря,
сквозь централы, расстрел на Лене,
сквозь Девятое января.
И в боях девятьсот пятого
и в маевках, флагами машущих,—
всюду брезжит светло,

незапятнанно
яснолобость симбирского мальчика.

Кто-то ночью,
петляя, смывается,
кто-то прячет шрифты под полой,
и, как лава, из глоток в семнадцатом
сокрушающее:

«Долой!»

Но вновь,
оттирая правду назад,
неправда к власти протискивается.

И вот,
пирамида,
взгляни:

Петроград.

Временное правительство.

* * *

Под вихрь витийственных словечек,
о славе греза мировой,
скакнул в премьеры человек
с вертлявой полой головой.

Он восклицал о прошлом горько.
Он лясы лисанькой точил,
а потихоньку-полегоньку
все то же прошлое тащил.

«Народ! Народ!» —
кричал под марши,
но лучше уж бесстыдный гнет,
чем угнетать народ,
как раньше,
крича
«Да здравствует народ!».

Следили Зимнего колонны
ловчили в шулерском дыму
с крапленной мастерски колодой
министров, надобных ему.

Он передергивал шикарно,
но пальцы чувствовали крах.
Так шла игра. Менялись карты,
но оставался тот же крап.

А в Зимнем все еще банкеты.
Бокалы узкие звенят,
и дарят девочки букеты,
как это дамы им велят.

И в залах звон, как будто бал там,
и подхорунжий с алым бантом

при николаевских усах
стоит у двери на часах.
И вот, подняв бокал с шампанским,
встает премьер с лицом шаманским,
с просветом в хилых волосах.

Здесь революцией клянутся,
за революцию здесь пьют,
а сами ссорятся, клюются
и все на свете продают.

У них интриги и раздоры,
хоть о единстве и галдят,
и Ярославли и Ростовы
на них презрительно глядят.

Их презирают и солдаты,
и те, кто сеют и куют,
и человеки, что салаты
им, изгибаясь, подают.

С усмешкой сумрачной
и странной,
сосредоточен, хитроват,
на их машины под охраной
глядит рабочий Петроград.

Он видит, видит их бессилье.
Еще немного — и пора...
Игра в правительство России —
всегда опасная игра.

* * *

Глядит пирамида,
 как тяжко,
 огромно,
сопя,
 разворачивается «Аврора»,
как прут на Зимний орущие тысячи...
Глядит пирамида
 все так же скептически:
«Я вижу:
 мерцают в струенье дождя
штыки — с холодной непримиримостью,
но справедливость, к власти придя,
становится несправедливостью.
Людей существо — оно таково...
Кто-то из древних молвил:
чтобы понять человека,
 его
надо представить мертвым.
Тут возразить нельзя ничего.
Согласна, но лишь отчасти.
Чтобы понять человека,
 его
надо представить у власти».

Но Братская ГЭС

 в свечении брызг
грохочет потоком вспененным:
«А ты в историю снова всмотрись.
Тебе я отвечу Лениным!»

ИДУТ ХОДОКИ К ЛЕНИНУ



Проселками
и селеньями
с горестями,
боленьями

идут
ходоки
к Ленину,

идут
ходоки
к Ленину.

Метели вокруг
свищут.

Голодные волки рыщут.
Но правду крестьяне ищут,
столетьями

правду ищут.
Столькие их поколения,
емелек и стенок видевшие,
шли,

как они,
к Ленину,
но не дошли,
не выдюжили.

Идут ходоки,
зальделые,
все, что наказано, шепчут.

Шаг
за себя делают.

Шаг —
за всех недошедших.

А где-то в Москве
Ленин,
пришедший с разинской Волги,
на телеграфной ленте
их видит
сквозь все сводки.
Он видит:
лица опухли.
Он слышит хрипучий кашель.
Он знает:
просят обувки
несуществующей каши.
Воет метель,
завывает.
Мороз ходоков
корежит,
и Ленин
себя забывает —
о них
он забыть
не может.
Он знает,
что все идеи —
только пустые «измы»,
если забыты на деле
русские слезные избы.
...Кони по ленте скачут.
Дети и женщины плачут.
Хлеб
кулаки
прячут.
Тиф и холера маячат.

И, ветром ревушим
накрениваемые.

по снегу,
строги и суровы,
идут ходоки
к Ленину,
похожие на сугробы.

Идут
ходоки
полями,
идут
ходоки
лесаами.

Ленин —
он и Ульянов,
и Ленин —
они
сами.

И сквозь огни,
созвездья,
выстрелы,
крики,
моленья,
невидимый,
с ними вместе
идет к Ленину
Ленин...

А ночью ему не спится
под штопаным одеялом.
Метель ворожит:
«Не сбьтсья
великим твоим идеалам!»

Как заговор,
 вьется поэмка.
В небе
 за облака
месяц,
 как беспризорник,
прячется
 от ЧК.
«Не сбывься! — скрежещет разруха.—
Я все проглочу бесследно!»
«Не сбывься! —
 как старая шлюха,
неправда гнусит.—
 Я бессмертна!»
«В грязь!» —
 оскалился голод.
«В грязь!» —
 визжат спекулянты.
«В грязь!» —
 деникинцев гогот.
«В грязь!» —
 шепоток Антанты.
Липкие,
 подлые,
 хитрые,
всякая разная мразь
ржут,
 верещат,
 хихикают:
«В грязь!
 В грязь!
 В грязь!»

Метель панихиду выводит,
но вновь — над матерью Волгой
идет он

 просто Володей
и дышит простором,
 волей.

С болью невыразимой
волны взметаются,
 брызжут.

В них,
 как в душе России,
Стенькины струги брезжат.

Волга дышит смолисто.

Волга ему протяжно:

«Что,
 гимназист из Симбирска,
тяжко быть Лениным,
 тяжко!!»

Не спится ему,
 не спится,
но сквозь разруху, метели
он видит живые лица,
словно лицо идеи.

И за советом к селеньям,
к горестям

 и болям
идет

 ходоком

 Ленин,

идет

 ходоком

 Ленин...

все человечество
 за волосы
тащит,
 пусть даже невежливо.
Оно упирается,
 оно недовольно,
не понимая сразу того,
что иногда ему делают больно
только затем,
 чтоб спасти его...»
Но пирамида остроугольно
смотрит:
 «Ну что же,— нас время рассудит.
Что, если только и будет больно,
ну, а спасенья не будет!
И в чем спасенье!
 Кому это нужно —
свобода,
 равенство,
 братство всемирное!
Прости,
 повторяюсь я несколько нудно,
но люди —
 рабы.
 Это азбучно, милая...»
Но Братская ГЭС восстает против
 рабского.
Волны ее гудят,
 не сдаются:
«Я знаю и помню
 другую азбуку —
азбуку революции!»

АЗБУКА РЕВОЛЮЦИИ

Гремит

«Авроры» эхо,
пророчествуя нациям.
Учительница Элькина
на фронте

в девятнадцатом.
Ах, ей бы Блока, Брюсова,
а у нее винтовка.
Ах, ей бы косы русые,
да целиться неловко.
Вот отошли кадеты.
Свободный час имеется,
и на траве,

как дети,
сидят красноармейцы.
Голодные, заросшие,
больные да израненные,
такие все хорошие,
такие все неграмотные.
Учительница Элькина
раскрывает азбуку.
Повторяет медленно,
повторяет ласково.

Слог

выводит
каждый,
ну, а хлопцам странно:
«Маша
ела
кашу.

Маша

мыла

раму».

Напрягают разумы
с усилиями напрасными
эти Стенки Разины
со звездочками красными.

Учительница, кашля,
вновь долбит упрямо:

«Маша

ела

кашу.

Маша

мыла

раму».

Но, словно маясь грыжей
от этой кутерьмы,
винтовкой стукнул

рыжий

из-под Костромы:

«Чего ты нас мучишь!

Чему ты нас учишь?

Какая Маша!

Что за каша!»

Учительница Элькина

поле этой речи

чуть не плачет...

Меленько

вздрагивают плечи.

А рыжий

огорчительно,



как сестренке, с жалостью:
«Товарищ учителька,
зря ты обижаешься.
Выдай нам,
 глазастая,
такое изречение,
чтоб схватило за́ сердце,—
и пойдет учение...»

Трудно это выполнить,
но, каноны сламывая,
из нее

 выплыло
самое-самое,
как зов борьбы,
врезаясь в умы:
«Мы не рабы...
Рабы не мы...»

И повторяли,
 впитывая
в себя до конца,
и тот,
 из Питера,
и тот,
 из Ельца,
и тот,
 из Барабы,
и тот,
 из Костромы:
«Мы не рабы...
Рабы не мы...»

...Какое утро чистое!
Как пахнет степь цветами!
Ты что ползешь,
 учительница,
с напрасными бинтами!
Ах, как ромашкам бредится —
понять бы их,
 понять!
Ах, как березкам брезжится —
обнять бы их,
 обнять!
Ах, как ручьям клокочется —
припасть бы к ним, припасть!
Ах, до чего не хочется,
не хочется
 пропасть!
Но ржут гнедые,
 чалые...
Взмывают стрепета,
задев крылом
 печальные,
пустые стремена.
Вокруг ребята ранние
поруваны,
 постреляны...
А ты все ищешь раненых,
учительница Элькина!
Лежат,
 убитые,
среди чабреца
и тот,
 из Питера,

и тот,
из Ельца,
и тот,
из Барабы...
А тот, из Костромы,
еще живой как будто,
и лишь глаза странны.

«Подстрелили чистенько.
Я уже готов.
Ты не трать, учителька,
на меня бинтов».
И, глаза закрывший,
почти уже не бывший,
что-то вспомнил рыжий,
улыбнулся рыжий.
И выдохнул мучительно,
уже из смертной мглы:
«Мы не рабы,
учителька,
Рабы не мы...»

БЕТОН СОЦИАЛИЗМА

«Бабья кровь от века рабья...» —
говорил кулак Зыбнов,
желтым ногтем выкорябивая
мясо из зубов.

И в избе кулацкой сохла,
как полынный стебелек.

без отца и мамки Сонька,
чуть повыше, чем сапог.

Забивалась она в угол
и слышала ржавый смех:
«Ну, теперь ваш Ленин умер,—
и Коммуне тоже смерть!»

Зыбко плавали лампы.
Крысы шастали в сенях,
и казацкие лампы
кровенели на штанах.

И ждала расправы скорой,
где-то сунута в муку,
та нагайка, свист которой
помнят Питер и Баку.

Год за годом шли. Сменялись
лед, вода, вода и лед.
Соньке стукнуло семнадцать
под гуденье непогод.

Засугробили метели
приуральские края,
но в крови батрацкой пели
пугачевские кровя.



И, платком лицо закутав,
вся в снегу, белым-бела,
Сонька вышла в ночь за хутор,
и пошла она, пошла.

В той степи, насквозь продутой,
что без края и конца,
атаман казацкий Дутов
расстрелял ее отца.

И к горе, горе Магнитной,
хоть идти неумоготу,
Сонька шла с одной молитвой:
разыскать могилу ту.

Но у самой у Магнитки
Сонька встала, замерла:
ни могилы, ни могилки,
а народу без числа.

Прут машины озверенно,
тачек стук и звяк лопат,
и замерзлые знамена
красным льдом своим гремят.

И хотя земля чугуна,
тыщи сонек землю бьют,
тыщи сонек про Коммуну
песню звонкую поют.

А на всех, кто роет, строит,
чистым отсветом легло
чье-то доброе, простое,
не иконное лицо.

И с прищуром зорким-зорким,
что-то думая свое,
он глядел, Ильич, на Соньку,
ждал чего-то от нее.

И взяла она лопату,
еще теплую от рук,
обернулась угловато
и увидела подруг.

И щербатая Тамарка
ей сказала прямо в лоб:
«Выше голову, товарка,
ты же — красный землекоп!»

Сонька ткнула грунт несмело,
но за свой батрацкий срок
что-ничто — копать умела:
черенок есть черенок.

И на Сонькину лопату
засмотрелся, покорен,
первый здешний экскаватор
иностранец «Марион».

**И с лопаты дни летели,
будто взрытая земля,
в духотищу и в метели,
осыпаясь и звеня.**

**Комсомольская шамовка
из селедочных голов,
но — «В коммуне остановка!»
и — копай без лишних слов!**

**Ватник латан-перелатан
и лоснится, как супонь,
но не лапан-перелалан —
ты попробуй Соньку тронь!**

**Не смущало в той эпохе
Соньку, гордую собой,
то, что драные опорки
на ногах ее зимой.**

**И носила летом гордо
две галоши прехудых
фирмы «Красный треугольник»,
их бечевкой прихватив.**

**Лишь во сне ее укромном
плыли где-то там вдали
сапоги, сверкая хромом,
будто чудо-корабли.**

Комсомола член и МОПра...
Почему же у нее
под глазами часто мокро!
Немарксистское нытье!..

Петька, чертовый бетонщик
в разбуденовке своей,
ты с товарищем потоньше...
Удели вниманье ей!

Ну, а Петька смотрит шало:
«Мне бетон бы только дать!
Снова скурвилась мешалка —
подкулачница, видать...»

...С окон сыплется замазка
на коттеджах инспектов.
Под горой Магнитной пляска,
да такая, что Аляска
где-то вскинула от хряска
к небу мордочки песцов.

Пляшут парни на бетоне,
пляшут пять чубов хмельных.
Пляшут парни наподобье
виноделов чумовых.

Пляшут звездные, лихие
разбуденовки парней —
пляску детства индустрии,
пляску юности своей.

Ничего, что эта пляска
тяжела, тяжела,
ничего, что тряско, вязко —
лишь Коммуна бы жила!

Ноги стонут, ноги тонут,
но гремит, бросая в дрожь,
над трясинною бетона
перекопское: «Даешь!»

А при бусах и сережках,
позабыв про Перекоп,
ходит в хромовых сапожках
Сонька — красный землекоп.

Сонька год почти копила
свои кровные рубли
и, неясно где, купила
эти чудо-корабли.

Только зря ты, Сонька, ходишь,
замышляя воровство.
Зря украсть у пляски хочешь,
Сонька, Петьку своего.

Ну-ка, Сонька, не фасонь-ка!
Не боись! Иди сюда!
На твоих ресницах, Сонька,
буржуазная вода.

Петька твой ногами пашет,
пляшет носом и вихром,
он рукою тебе машет —
позабудь про этот хром!

И, веселая, живая,
так чертовски молода,
светит, Соньку зазывая,
с разбуденовки звезда.

Еще малость плачет Сонька,
но звездою тянет он,
и уже мыском тихонько
Сонька трогает бетон.
Соньку чуть вперед шатнуло.
Сонькин дух, как видно, слаб.
Сапоги едва шагнули,
и бетон их сразу — цап!

Сонька руку выгибает,
а в глазах — круги, круги...
Пляшет Сонька... Погибают,
погибают сапоги!

И летит, чистейше брызнув,
с щек горящих — не беда! —
на бетон социализма
буржуазная вода.

Сапоги вконец разбиты.
Долго ждать еще обнов...

**Что ты зыркаешь небрито,
раскулаченный Зыбнов!**

**Что гундосишь ты, плешивый,
взгляд кося через плечо:
«Попляшите, попляшите,—
вы допляшетесь еще!»?**

**Уходи, нам свет не засти,
оставайся при своем.
Мы допляшемся до счастья —
пусть все ноги в кровь собьем!**

**Сонька пляшет в иступленьи,
будто знает наперед:
не умрет вовеки Ленин,
и Коммуна не умрет...**

КОММУНАРЫ НЕ БУДУТ РАБАМИ!..

**Просыпавшийся мир
шелестел, свиристал,
когда утром росистой тропею
нас к обрыву
бандиты вели на расстрел
под Херсоном,
в Поволжье, в Триполье.
Но мы пели и пели,
голов не клоня,**



на груди разрывая рубахи:

«Никогда,

 никогда,

 никогда.

 никогда

коммунары не будут рабами!»

Нас безжалостный голод

 глодал и душил,

нас шатали тифозные ветры,

но не падали мы —

 из костей да из жил,

да еще —

 из отчаянной веры.

А вокруг нищета,

 босота,

 нагота,

но мы строили,

 уголь рубали.

На поклон мы не шли...

 Никогда,

 никогда

коммунары не будут рабами!

Поднималась Шатура,

 Магнитка,

 Кузбасс,

и буржуи затылки чесали...

Так за что же доносы писали на нас,

в лагеря

 и тюрьмы

 бросали!!

Но в тебе, Колыма,
и в тебе, Воркута,
мы хрипели, смиряя рыдания:
«Даже здесь —
никогда,
никогда,
никогда
коммунары не будут рабами!»

И во имя России и дальних Гренад
против танков с крупповской маркой
шли в тельняшках
с последнею связкой гранат,
затянувшись последней сигаркой.
Пусть над многими нет ни звезды,
ни креста,—
но полыню,
бурьяном,
хлебами
повторяют они:
«Никогда,
никогда
коммунары не будут рабами!»

Нас пытали эсэсовцы,
пламенем жгли,
уговаривали нас ласково,
но мы кровью плевали на все,
мы не шли
в полицаи или во власовцы.

ПРИЗРАКИ В ТАЙГЕ

То не клюквой хрустят
мишки-лакомки,
не бобры свистят,
встав на лапочки,
не сычи кричат, будто при смерти,—
возле Братской ГЭС бродят призраки.

Что угрюм, воевода острожный!
Али мало ты высек людей!
Али мало с твоею-то рожей
перепортил тунгусок,
злодей!

Здесь, на ГЭС, увидав инородца,
ты не можешь все это постичь.
Твое хапало
к плетке
рвется,
да истлела она,
старый хрыч!

Эй, купцы,
вы чего разошлись!
Что стучите костями от злости!
Ну зачем вы жирели всю жизнь!
Все равно
в результате — кости...
Господин жандарм,
господин жандарм,
как вам хочется
кузькину мать

показать вольнодумцам
и прочим жидам,
да трудненько теперь показать!

Протопоп Аввакум, ты устал от желез.
Холодна власяница туманов.
Ты о чем размышляешь у Братской ГЭС
среди тихих,
как дети,
шаманов!

Эй, старатель с киркой одержимой,
с деревянным замшелым лотком,
мы нашли самородную жилу
или просто долбим на пустом?

О, петербургские предтечи,
в перстах подъемля те же свечи,
ответьте правнукам своим —
из вашей искры возгорелось
такое пламя, как хотелось
его увидеть вам самим!

«Динь-бом... Динь-бом...» —
слышен звон кандалный.

«Динь-бом... Динь-бом...»
Путь сибирский, дальний.

«Динь-бом... Динь-бом...» —
слышно там и тут.

Нашего товарища на каторгу ведут.
Вы ответьте, кандалы,
так ли мы живем,

с правдой или же с неправдой
 черный хлеб жуем?
Вы ответьте из ночи,
 партизаны, избачи:
гибли вы за нас,
 таких,
или —
 за других!!

Слышу,
 в черном кедраче
кто-то рядом дышит.
Слышу руку на плече...
Вздрогнул я:
 Радищев!

«Давным-давно на месте Братской ГЭС
я проплывал на утлой оморочке
с оскоминой от стражи и морошки,
но с верою в светильниках очес.
Когда во мрак все погрузил заход,
я размышлял в преддверии восхода
о скрытой силе нашего народа,
подобной скрытой силе этих вод.
Но, озирая дремлющую ширь,
не мыслил я, чтоб вы преобразили
тюрьмой России бывшую Сибирь
в источник света будущей России.
Торжественно свидетельствуют мне
о вашей силе многие деянья,
но пусть лелеет сила в глубине
обязанность святую состраданья.

Исчез Радищев...

Глядя ему вслед,
у Братской ГЭС
всепоглощенно,
тайно
о многом думал я,
и не случайно
припомнил я,
как написал поэт:

*«Авроры» залп, встают с дрекольем
села...*

*Но это началось в минуту ту,
когда Радищев
рукавом камзола
отер слезу,
увидев сироту...»¹*

И думал я,
оцепенел и тих:
достойны ли мы призраков таких?
Какие мы?
И каждый ли из нас
сумеет повторить
в свой трудный час:
«Я тот же, что и был,
и буду весь мой век —
не скот,
не дерево,
не раб,
но человек...»!

¹ Е. Винокуров.

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

Ах, уральской марки сталь,
рельсы-серебриночки!
Магистраль ты, магистраль,
Транссибирочка!

Ты о чем, скажи, грустишь
в стуках-проблесках!
Не от слез ли ты блестишь,
в щели пролитых?
Помнишь, как глаза глядели
в окна

отрешенно,
как по насыпи летели
тени
от решеток,
и сквозь прутья,
будто голуби,
продирались

и — в полет
чьих-то писем треугольники
{может, кто-то подберет...}.
И над соснами, рябинами
кружилось наугад:

«Ты не верь,
моя любимая...»,
«Мама,
я не виноват...»

Было много разной лжи,
много страшного,
но не надо, не тужи,
магистралюшка!

Ветер бьет наперерез,
ну, а мелом —
наискось
«Едет Братская ГЭС!» —
на вагоне
надпись.
Говорят глаза с глазами
и с тайгой невиданною:
«Мы себя «сослали» сами
в ссылку удивительную!
Стань,
Сибирь,
светлым-светла,
радуйся
и радуй!
Наказаньем ты была,
сделайся
наградой!»
Сочинили хор-оркестр
москвичи с москвичками.
Едет Братская ГЭС
с рыжими косичками!

«Я на Сретенке жила —
расстаемся с нею.
Газировку я пила —
Ангара вкуснее!
В рюкзаке моем побились
мамины бараночки...
Мама новая, тайга,
принимай в братчаночки!»

[И не знаешь ты, девчонка,
что в жестокий первый год
твоя модная юбчонка
на портянки вся пойдет;
что в палатке-невеличке,
как рванет за сорок пять,
станут рыжие косички
к раскладушке примерзать.
Будут ноженьки в болячках.
Будет в дверь скрестись медведь,
и о маминых баранках
тайно будешь ты реветь.
Маникюр забудут руки.
Но ты выстоишь, как все,
в рукавицах и треухе,
в телогрейке и кирзе.
И в краю глухом, острожном,
как тобою решено,
себе Сретенку построишь,
танцплощадку и кино.
Пусть в Москве себя не тешат:
маникюр ты наведешь,
платье-колокол наденешь,
в туфлях узеньких пройдешь.
И ты будешь в платье этом
так сиять, сводя с ума,
словно лампочка со светом,
тем, что ты зажгла сама!]

Сосны синие окрест
с алыми верхами...

**Едет Братская ГЭС
с шалыми вихрами!
Пой,**

**Алешка Марчук,
на глаза татаристый!
В разговоре ты —**

**молчун,
ну, а в песне —
яростный.**

**Пусть гитара семиструнная
играет до утра,
словно это**

**семиструнная
играет Ангара!**

**(И разве знаешь ты, Алешка,
с шнурком ковбойским на груди,
что жизнь твоя — еще обложка,
а книга будет впереди;
и что тебе с твоим дипломом
в тайге придется — будь здоров! —
пилою вкалывать и ломом,
зубря английский у костров;
что с видом вовсе не геройским,
чумазый, словно сатана,
прихватишь ты шнурком ковбойским
в грязи подошву сапога...
А после с красною повязкой
кидаться будешь ты в ночи
туда, где с вкрадчивой повадкой
по фене ботают ножи.**

И только утром, на рассвете,
с усмешкой вспомнив левый хук,
ты сможешь взяться за рейсфедер,
и будет падать он из рук...

Но встанет ГЭС, и свет ударит,
и песня странствовать пойдет:

«Марчук играет на гитаре,
а море Братское поет...»

И в дальнем городе Нью-Йорке,
где и студенты и печать,
ты будешь кратко и неловко
о Братской ГЭС им отвечать.
Среди вопросов — и окольных
и злых, пронзающих насквозь,—
вдруг спросит кто-то,

словно школьник:

«С чего все это началось!»

Но нет, не первые палатки
ты вспомнишь, тайно озарен,
а те побитые баранки,
а тот поющий эшелон.

И, вспомнив это все не даром,
ты улыбнешься — так светло! —
и, взяв у битника гитару,
ответишь весело:

«С нее!»]

Эй, медведи,
прячьтесь в лес
робко,
как воробышки!
Едет Братская ГЭС
с гитарой на веревочке!
Пой,
уральской марки сталь,
песню силы,
храбрости!
Магистраль печали,
стань
магистралью радости!
Чтоб на рельсах —
ни слезинки
от извечной слезности,
наши души,
как светинки,
в свет великий сложатся!
В неизвестные края
пенно
и широко
ты летишь,
страна моя,
первозшелонно.
Наши жизни —
на кону.
Наши жилы
лопаются.
Трудно нам,
как никому,
первозшелонцы!

Но и звезды
 и костры,
но и снег
 и солнце
кто так чувствует,
 как мы,
первоэшелонцы!!
И ты знай,
 страна моя,—
если тяжело мне,
все равно я счастлив:
 я —
в первом эшелоне!..

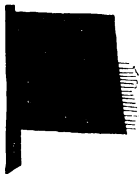
ЖАРКИ

«Куда идешь ты, бабушка!»
«Я к лагерю, сынки...»
«А что несешь ты, бабушка!»
«Жарки несу, жарки...»

В руках, неосторожные,
топорщатся, дразня,
жарки — цветы таежные,
как язычки огня.

И смотрит отгороженно,
печален и велик,
из-под платка в горошинах
рублевский темный лик,

и кожаные ичиги,



с землею говоря,
обходят голубичники,
чтобы не мять зазря.

Летают птицы, бабочки,
и солнышко горит,
и вдруг такое бабушка
тихонько говорит:

«Иду, бывало, с ведрами
и вижу в двух шагах
несчастных тех, ободранных,
в разбитых сапогах.

Худущие, простудные —
и описать нельзя!
И вовсе не преступные —
родимые глаза.

Ах, слава тебе, господи,
им волю дали всем,
и лагерь этот горестный
стоит пустой совсем.

А нынче непонятица:
в такую дальину
аж целый поезд катится,
чтоб строить плотину́.

И ладно ли, не ладно ли —
приезжих тех ребят
в бараках старых лагерных
пока определяют...

Мои старшие внученьки
чуть зорька поднялись
и ведра-тряпки в рученьки —
и за полы взялись.

А внуки мои младшие,
те встали даже в ночь.
Ломают вышки мрачные
и проволоку прочь.

Ну, а в бараки попросту
с утра несет народ
кто скатерти, кто простыни,
кто шанежки, кто мед.

Придельывают ставенки,
кладут половики,
а я вот, дура старая,
жарки несу, жарки.

Пускай цветы таежные
стоят, красным-красны,
чтоб снились не тревожные,
не лагерные сны.

Уже мне еле ходится:
я, видно, отжила.
Вы стройте, что вам хочется,
лишь только б не для зла.

Моя избушка под воду
уйдет, ну и уйдет,
лишь только б люди подлые
не мучили народ...»

«Ну, что молчишь ты, бабушка!»
«Да так, сынки, нашло...»
«А что ты плачешь, бабушка!»
«Да так я, ничего...»

И крестит экскаваторы
и нас — на все века —
худая, узловатая
крестьянская рука...

НЮШКА

Я бетонщица, Буртова Нюшка.
Я по двести процентов даю.
Что ты пялишь глаза! Тебе нужно,
чтобы жизнь рассказала свою!

На рогожке пожухнувших пожней
в сорок первом году родилась
в глухоманной деревне таежной
по прозванию Великая Грязь.

С головою поникшей, повинной
мать лежала, пуста и светла.

и прикручена пуповиной
к застылому телу была.

Ну, а бабы снопы побросали
и, склонясь надо мною, живой,
пуповину серпом обрезали,
перевязывали травой.

Грудь мне ткнула соседская Фроська.
Завернул меня дед Никодим
в лозунг выцветший «Все для фронта!»,
что над станом висел полевым.

И лежала со мной моя мамка
на высоком, до неба, возу.
Там ей было покойно и мягко,
а страданья остались внизу.

И осталось не узнанным ею,
что почти через месяц всего
пуля-дура под городом Ельней
угадала отца моего.

Председатель наш был не крестьянский,
он в деревню пришел от станка,
и рукав, пустовавший с гражданской,
был заложен в карман пиджака.

Он собранию похоронку
одинокой рукой показал:
«Как, народ, воспитаем девчонку!» —
и народ: «Воспитаем!» — сказал.

Я была в это горькое время
вроде трудного лишнего рта,
но никто меня в нашей деревне
никогда не назвал «сирота».

Затаив под суровостью ласку,
председатель совал, как отец,
то морковь, то тряпичную ляльку,
то с налипшей махрой леденец.

Меня бабы кормили картошкой,
как могли одевали в свое,
и росла я деревниной дочкой
и, как мамку, любила ее.

Отгремела война, отстреляла,
солнце нашей победы взошло,
ну, а мамка моя все страдала,
и понять не могла я, за что.

«План давайте!» — из центра долбили.
Телефон ошалел от звонков,
ну, а руки напрасно давили
на иссохшие сиськи коров.
И такие же руки в порезах,
в черноте неотмывной земли

мне вручили хрустящий портфельчик
и до школы меня довели.

Мы уселись неловко за парты,
не дышали, робки и тихи.
От учительки чем-то пахло —
я не знала, что это духи.

Городская, в очках и жакете,
прервала она тишину:
«Что такое Отчизна, дети!
Ну-ка, дети, подумайте, ну!..»

Мы молчали в постыдной заминке:
нас такому никто не учил.
«Знаю — Родина!» — Петька-заика
торжествующе вдруг подскочил.

«Ну, а Родина!» — в нетерпенье
карандашик стучал по столу.
Я подумала: «Наша деревня!» —
но от страха смолчала в углу.

Я училась, я ум напрягала,
я по карте указкой вела.
Я ледащих коней запрягала
и за повод вперед волокла.

Я молола, колола, полола,
к хлебопункту возила кули,
насыпала коровам полу, —
а они ее есть не могли.

Я брала самоплетку-корзинку
да еще расписной туесок
и ходила в тайгу по бруснику,
по грибы и по дикий чеснок.

Из тайги — моего огорода —
к председателю шла поскорей,
потому что средь прочих голодных
он в деревне был всех голодней.

Ел он жадно, все сразу сметая,
и шутил он, скрывая тоску:
«Есть грибы, да вот нету сметанки...
Есть брусника, да нет сахарку...»

Брал он Ленина старое фото,
и часами смотрел и курил,
и как будто бы спрашивал что-то,
и о чем-то ему говорил.

А потом, просветленно очнувшись,
прижимал меня крепко к груди:
«Ничего, все изменится, Нюшка...
Погоди еще чуть, погоди...»

Меж деревней и телефоном,
разрываясь, метался он.
Хлеба требовали испуганно
и деревня и телефон.

Хряки с голоду выли, как волки,
ну, а в трубку горланили: «План!»
И однажды из дряхлой двустволки
он пустил себе в сердце жакан.

И лежал он, и каждый стыдился,
что его не сберег от курка,
а нахмуренный Ленин светился
на борту его пиджака.

Молчаливо глядели оба.
Было страшно и мне и другим,
что захлопнется крышка гроба
и за Лениным и за ним.

Я росла, семилетку кончала,
но на душевных полатях во сне
я порою истошно кричала.
Что-то страшное виделось мне...

Будто все на земле оголенно —
ни людей, ни зверей, ни травы:
телефоны одни, телефоны
и гробы, и гробы, и гробы...

И в осеннюю скользкую пасмурь
из деревни Великая Грязь,
получив еле-еле свой паспорт,
в домработницы я подалась.

**Мой хозяин — солидная шишка —
был не гад никакой, не злодей,
только чуяла я без ошибки:
он из тех телефонных людей.**

**Обходился со мною без мата,
правда, вместе за стол не сажал,
но на праздник Восьмого марта
мне торжественно руку пожал.**

**А подвыпив, басил разморенно:
«Ну-ка, Нюшка, грибков подложи
да и спой-ка... Я сам из народа...
Спой народную... Спой для души...»**

**Я с утра пылесосила шторы,
нафталинила польта, манто,
протирала рояль, на котором
не играл в этом доме никто.**

**В деревянных скользучих колодках
натирала мастикой паркет
и однажды нашла за комодом
запыленный известный портрет.**

**Я спросила, что делать с портретом,—
может, выбросить надлежит,
но хозяин, помедлив с ответом,
усмехнулся: «Пускай полежит...»**

Он, газеты прочтенные скомкав,
становился угрюм и надут:
«Ну и ну!.. Чего доброго, скоро
до партмаксимума дойдут».

Расковыривал яростно студень,
воротясь из колхоза в ночи:
«Кулаком, понимаешь ли, стукнул,
а уже говорят: не стучи...»

И, заснуть неудачливо слясь,
он ворчал, не поймешь на кого:
«Демократия... Распустились!..
Жаль, что нету на них самого...»

Одобренье лицом выражая,
но, как должно, чуть-чуть суроват,
проверял он, очки водружая,
за него сочиненный доклад.

И звонил он: «Илюша, ты мастер...
В общем, надо сказать, удалось.
Юморка бы народного малость
да и пару цитаток подбрось».

И подбрасывали цитаток,
и народного юморка,
и баранинки, и цыпляток,
и огурчиков, и омулька.

Уж кого он любил, я не знала,
только знала одно — не людей.
И шофер — необщительный малый —
его точно прозвал: «Прохиндей».

Я все руки себе простирала
и сбежала, сама не своя.
В судомойки вагон-ресторана
поступила по случаю я.

И я мыла фужеры и стопки,
соскребала ромштексы, мозги
от Москвы до Владивостока,
а оттуда — опять до Москвы.

Крал главповар, буфетчицы крали,
а в окне проплывала страна,
проплывали заводы и краны,
трактора, самолеты, стога.

Сквозь окурки, объедки, очистки
я глядела, как будто во сне,
и значение слова «Отчизна»
открывалось, как Волга в окне.

В той Отчизне суровой, непраздной
прохиндействовать было — что красть
у рабочих, у площади Красной,
у деревни Великая Грязь.

Было — с разными фразами лезли,
было — волю давали рукам,
ну, да это не страшное, если
в крайнем случае и по щекам.

И скисали похабные рожи,
притихали в момент за столом.
В основном-то народ был хороший.
Он хороший везде в основном.

Но меж теми, что ели и пили
и в окне наблюдали огни,
пассажиры особые были —
чем-то тайным друг другу сродни.

Так никто не глядел на вокзалы
и на малости жизни живой
изнуренными жаждой глазами,
обведенными синевой.

Возвращались они долгожданно,
исхудалые, в седине,
с Колымы, Воркуты, Магадана
наконец возвращались к стране.

Не забудешь, конечно, мгновенно
ни овчарок, ни номер ЗК,
но была в этих людях вера,
а не то чтобы, скажем, тоска.



**И какое я право имела
веру в жизнь потерять, как впотьмах,
если люди, кайля онемело,
не теряли ее в лагерях!**

**А однажды в ковбойках и кедах
к нам ввалился народ молодой
и запел о туманах и кедрах
над могучей рекой Ангарой.**

**Танцевали колеса и рельсы.
Окна ветром таежным секло.
«А теперь — за здоровье Уэллса!» —
кто-то поднял под хохот ситро.**

**И очкарик, ученый ужасно,
объяснил мне тогда, что Уэллс
был писатель такой буржуазный
и не верил он в Братскую ГЭС.**

**Я к столу подошла робковато
и спросила, идя напролом:
«А меня не возьмете, ребята!»
И ребята сказали: «Возьмем!»**

**И я встала, тайгу окликаю,
вместе с нашей гурьбой озорной,
не могучая никакая
над могучей рекой Ангарой.**

Потревоженно гуси кричали.
Где-то лоси трубили в ответ.
Мы счастливо стояли, братчане,
в нашем Братске, которого нет.

А имущества было у Нюшки —
пара стоптанных башмаков,
да облупленный нос, да веснушки,
да неполных семнадцать годков.

Впрочем, был чемоданчик фанерный
с незаманчивым всяким тряпьем,
и висел для сохранности верной
небольшенький замочек на нем.

Но в палатке у нас нетуманно
заявили, жуя геркулес,
что с замочками на чемоданах
не построить нам Братскую ГЭС.

Виновато я сжалась в комочек,
и, на стройку идя поутру,
я швырнула тот чертов замочек
и замочек с души — в Ангару!

Стали личным имуществом сосны,
цифры мелом на грубых щитах
и улыбки, а слезы — так слезы
у товарок моих на щеках.

**И когда я спала, мне светила
под урчанье машин и зверья
мною выстроенная плотина
и не чья-нибудь — лично моя!**

**Словно льдинка, чуть брезжило солнце.
Был мой лом непомерно большим,
и свисали сосульками сопли
под зашмыганным носом моим.**

**Но себе говорила я: «Нюшка,
тянет лечь, ну, а ты не ложись.
Пусть из носа хоть сопли, хоть юшка,—
ты деревнина дочка... Держись!**

**Ты шатаешься... Тебе худо...
Но долби и долби, не валясь,
чтобы жизнь получшела повсюду —
и в деревне Великая Грязь».**

**Страшный ветер меня колошматил,
и когда уже не было сил,
то мне чудился председатель,
как он с Лениным говорил.**

**И опять я долбила под грохот
и жила и дышала одним:
не захлопнется крышка гроба
ни за Лениным, ни за ним!**

И я верила в это не словом,
не пустою газетной строкой,
а я верила своим ломом,
и лопатою, и киркой.

А потом я бетонщицей стала,
получила общественный вес.
Вместе с городом я вырастала,
и я строилась вместе с ГЭС.

Но, казалось, под наговор вешний,
лишь вибратор на миг положу —
ничего я на деле не вешу,
отделюсь от земли — полечу!

И летела по небу, летела,
ни бетона не видя, ни лиц,
и чего-то такого хотела,
что похоже на небо и птиц.

Но на радость мою и на горе,
над ломающей льдины водой
появился весною в конторе
интересный москвич молодой.

Был он гордый... Не пил, не ругался.
На девчонок глаза не косил.
Увлекался искусством, а галстук
и в рабочее время носил.

**Я себя убеждала: «Да что ты!
На столе его, дура, лежит,
понимаешь, не чье-нибудь фото,
а французской артистки Брижитт».**

**И глядела я в зеркало хмуро
и за словом не лезла в карман:
«Недоучка... Кубышкой фигура...
И румянец уж слишком румян...»**

**Я купила в аптеке лосьону
для смягчения кожи рук.
Терла, терла я их потаенно
от своих закадычных подруг.**

**И, терпя от насмешников муку,
только сверху я трогала суп
и крутила проклятую штуку
под названием «хула-хуп».**

**И читала я книжку за книжкой
и для бледности уксус пила —
все равно оставалась кубышкой,
все равно краснощекой была.**

**Виновата ли я, что эпохе
было некогда до меня,
что росла на черняшке, картохе,
о фигуре не думала я!**

Мой румянец — не с витаминов,
не от пляжей, где праздно лежат,
а от хлещущих вьюг сатанинских,
от мороза за пятьдесят.

Ты наверно бы так не смеялась,
не такой бы имела ты вид,
если б в Ньюшкиной шкуре хоть малость
побывала, артистка Брижитт!

Позабить я себя заставляю —
никогда позабить не смогу,
как отпраздновать Первое мая
мы поплыли на лодках в тайгу.

Пили «гымзу» под частич в томате
за любовь и за Братскую ГЭС.
Кто-то был уже в чьей-то помаде...
Кто-то с кем-то куда-то исчез...

Я смотрела тайком пригвожденно,
как, от всех и меня вдалеке,
размышлял у костра отчужденно
он с приемничком-крошкой в руке.

Несся танец по имени «мамба»
и Парижей и Лондонов гул,
и шептала я: «Мамочка-мама,
хоть бы раз на меня он взглянул!»

**И взглянул — в первый раз любопытно...
Огляделся — мы были вдвоем,
и, кивнув на вечерние пихты,
он устало сказал мне: «Пойдем...»**

**И пошла, хоть и знала с тоскою:
оттого это все так легко,
что я рядом была, под рукою,
а французенка та далеко.**

**Я дрожала, как будто зверюшка,
и от страха и от стыда.
До свидания, бывшая Нюшка!
До свидания, до свида...**

**И заплакала я над собою...
Был в испуге он: «Что ты дуришь!»
А в приемничке рядом на хвое
надо мною смеялся Париж.**

**С той поры тот москвич поразумнел:
и наряды он мне отмечал,
и выписывал новый инструмент,
а как будто бы не замечал.**

**Но однажды во время работы
закачалось все на земле.
И внутри меня торкнулось что-то,
объявляя само о себе.**

Становилось все чаще мне плохо,
не смотрела почти на еду...
Но зачем же, такая дуреха,
я сказала об этом ему!!

Смерил взглядом холодным и беглым
и, приемничком занят своим,
процедил: «Я, конечно, был первым,
но ведь кто-то мог быть и вторым...»

«Семилетку в четыре года!» —
бились лозунги, как всегда,
а от боли моей и от горя
я бежала не знаю куда.

Я взбежала на эстакаду,
чтобы с жизнью покончить враз,
но я замерла истуканно,
под собою увидев мой Братск.

И меня, как ребенка, схватила
с беззащитным укором в глазах
недостроенная плотина
в арматуре и голосах.

И сквозь ревы сирен и смятенье
голубых электродных огней
председатель и Ленин смотрели,
и те самые, из лагерей.



**И кричала моя деревушка,
и кричала моя Ангара:
«Как ты можешь такое, Нюшка!
Как ты можешь!» И я не смогла.**

**От бригадных девчат и от хлопцев
положенье скрывая с трудом,
получив полагавшийся отпуск
я легла на девятом в роддом.**

**Я металась в постели ночами,
и под грохот и отблески ГЭС
появился наш новый братчанин,
губошлепый, мокрехонький весь.**

**Появился такой неумный
и хватался за все, хоть и слаб.
Появился, ни в чем не виновный,
и орал, как на стройке прораб.**

**И когда его грудью кормила,
председатель, я слез не лила.
В твою честь я сынишку Трофимом
хоть не модно, а назвала.**

**Я вникала в свое материнство,
а в палату ко мне между тем
поступали цветы, мандарины,
погремушки, компоты и джем.**

Ну, а вскоре сиделка седая,
помогая надеть мне пальто,
сообщила: «Вас там ожидают...»
И, ей-богу, не знала я, кто.

И, прижав драгоценный мой сверток
и, признаться, тревогу тая,
на ногах закачавшись нетвердых,
всю бригаду увидела я.

И расплакалась я неприлично,
прислонившись ослабло к стене.
Значит, все они знали отлично,
только виду не подали мне.

Слезы лились потоком — стыдища!..
Но, меня ото слез пробудив:
«Дай взглянуть-то, каков наш сынишка...» —
грубовато сказал бригадир.

Мне народ помогал, как сберкнижка.
Меня спрашивали с той поры,
улыбаясь: «Ну, как наш сынишка!» —
и монтажники и маляры.

И, внезапно остановившись,
из кабины просунув вихор,
улыбаясь: «Ну, как наш сынишка!» —
мне кричал незнакомый шофер.

**Экскаваторщики, верхолазы
баловали его, шельмецы,
и смущенно и доброглазо
поднимали, как будто отцы.**

**И со взглядом нетронуто-синим
не умел еще он понимать,
что он сделался стройкиным сыном,
как деревниной дочкою — мать...**

**И в огромной толпе однокашной
с ним я шла через год под оркестр.
В этот день — и счастливый и страшный
состоялось открытие ГЭС.**

**Я шептала тихонечко: «Трошка! —
прижимая сынишку к груди.—
Я поплачу, но только немножко.
Я поплачу, а ты уж гляди...»**

**И казалось мне — плакали тыщи,
и от слез поднималась вода,
и пошел, и пошел он, светище,
через жилы и провода.**

**На знаменах торжественно-алых
к людям рвущийся Ленин сиял,
и в толпе среди спецовок линиялых
председатель, наверно, стоял.**

**И под музыку, шапки и крики
вся сверкала и грохала ГЭС...
Жаль, что не был тогда на открытье
буржуазный писатель Уэллс!**

**...Вот вишу я с подругою Светкой
на стремянке в шальной вышине
и домазываю последки
у плотины на серой спине.**

**Вроде все бы спокойно, все в норме,
а в руках моих — детская дрожь,
и задумываюсь: по форме
мастерок на сердечко похож.**

**Я, конечно, в детали не влажу,
что нам в будущем суждено,
но сердечком своим его мажу,
чтобы было без трещин оно.**

**Чтобы бабы сирот не рожали,
чтобы хлеба хватало на всех,
чтоб невинных людей не сажали,
чтоб никто не стрелялся вовек.**

**Чтобы все и в любви было чисто
(а любви и сама я хочу),
чтоб у нас коммунизм получился
не по шкурникам — по Ильичу.**

**Я, конечно, помру, хоть об этом
говорить еще рано пока,
но останусь я все-таки светом
на года, а быть может, века.**

**И на фабрике, и в кабинете,
и в кругу сокровенном семьи
знайте: лампы привычные эти —
Ильича и немножко мои.**

**Пусть запомнят и внуки и внучки,
все светлей и светлей становясь:
этот свет им достался от Нюшки
из деревни Великая Грязь.**

БОЛЬШЕВИК

**Я инженер-гидростроитель Карцев.
Я не из хилых валидольных старцев.
хотя мне, мальчик мой, за шестьдесят.
Давай поговорим с тобой чин чином,
и разливай, как следует мужчинам,
в стаканы водку, в рюмки — лимонад.**

**Ты хочешь, чтобы начал я мгновенно
про трудовые подвиги, наверно?
А я опять насчет отцов-детей.
Ты молод, я моложе был, пожалуй,
когда я, бредя мировым пожаром,
рубал врагов Коммуны всех мастей.**

Летел мой чалый, шею выгибая,
с церковей кресты подковами сшибая,
и попусту, зазывно-веселы,
толпясь, трясли монистами девахи,
когда в ремнях, гранатах и папахе
я шашку вытирал о васильки.



И снились мне индусы на тачанках,
и перуанцы в шлемах и кожанках,
восставшие Берлин, Париж и Рим,
весь шар земной, Россией пробужденный,
и скачущий по Африке Буденный,
и я, конечно,— скачущий за ним.

И я, готовый шашкой бесшабашно
срубить с оттягом Эйфелеву башню,
пимонками разбить витрины вдрызг
в зажравшихся колбасами нью-йорках,
пришел на комсомольский съезд в опорках,
зато в обмотках из поповских риз.

Я ерзал: что же медлят с объявлением
пожара мирового! Где же Ленин!
«Да вот он...» — мне шепнул сосед-тверяк.
И я вздохнул: сейчас ОНО случится...
Но Ленин вышел и сказал: «Учиться,
учиться и учиться...» Как же так!

Но Ленину я верил... И в шинели
я на рабфак пошел, и мы чумели
на лекциях, голодная комса.

**Нам не давали киснуть малахольно
Маркс — Энгельс, постановки Мейерхольда,
махорка, Маяковский и хамса.**

**Я трудно грыз гранит гидростроенья.
Я обличал не наши настроенья,
клеймя позором галстуки, фокстрот.
На диспутах с Есениным боролся
за то, что видит он одни березки,
а к индустриной мощи не зовет.**

**Был нэп. Буржуи дергались в тустепе.
Я горько вспоминал, как пели степи,
как напряженно-бледные клинки
над кутерьмой погонов и лампасов
в полете доставали до пампасов,
которые, казалось, так близки.**

**Я, к подвигам стремясь, не сразу понял,
что нэп и есть не отступлень — подвиг.
И ленинец, мой мальчик, только тот,
кто, если хлеба нет, коровы дохнут,—
идет на все, ломает к черту догмы,
чтоб накормить, чтобы спасти народ.**

**Кричали над Россией паровозы.
К штыкам дрожавшим примерзали слезы.
В трамваях прекратилось воровство.
Шатаюсь, шел я с Лениным проститься
и, как живое что-то, в рукавице
грел партбилет — такой, как у него.**

**И я шептал в метельной круговерти:
«Мы вырвем, вырвем Ленина у смерти
и вырвем из опасности любой!
Неправда будет — из неправды вырвем!
Товарищ Ленин, только слезы вытрем —
и снова в бой, и снова за тобой!»**

**В Узбекистане строил я плотину.
Представь такую чудную картину,
когда грузовиками — ишаки.
Ну, а зато, зовущи и опасны,
как революционные пампасы,
тревожно трепетали тростники.**

**Нас мучил зной, шатала малярия,
но ничего: мы были молодые.
Держались мы, и, не спуская глаз,
все в облаках, из далей неохватных,
как будто басмачи в халатах ватных,
глядели горы сумрачно на нас.**

**Всю технику нам руки заменяли.
Стучали мы кирками, кетменями,
питаюсь ветром, птичьим молоком,
и я счастливо на топчан валился...
А где-то Маяковский застрелился.
[А после был посажен Мейерхольд.]**

**Я за день ухайдакивался так, что
дымилась шкура. Но угрюмо, тяжело
помились мысли в голову, страшны.**

**И я оцепенело и виновно
не мог понять, что делается — словно
две разных жизни было у страны.**

**В одной — я строил ГЭС под вой шакалов.
В одной — Магнитка, Метрострой, и Чкалов,
«Вставай, вставай, кудрявая...», и вихрь
аплодисментов там, в кремлевском зале...
В другой — рыдания: «Папу ночью взяли...» —
и — звезды на пол с маршалов моих.**

**Я кореша вопросами корябал.
С Алешкой Федосеевым, прорабом,
мы пили самогон из кишмиша,
и кулаком прораб грозил кому-то:
«А все-таки мы выстроим Коммуну!» —
и, плача, мне кричал: «Не плакать! Ша!»**

**Но мне сказал мой шеф с лицом аскета,
что партия дороже дружбы с кем-то.
Пронзающе взглянул, оправил френч
и постучал значительно по сейфу:
«Есть матерьялы — враг твой Федосеев...
А завтра партактив... Продумай речь...»**

**«Так надо!» — он вослед не удержался.
«Так надо!» — говорили — я сражался.
«Так надо!» — я учился по складам.
«Так надо!» — строил, не прося награды,
но если лгать велят, сказав «Так надо!»,
и я солгу,—**

я Ленина предам!

И я, рубя с размаху ложь в окрошку,
за Ленина стоял и за Алешку
на партэктиве,

как под Сивашом.

Плевал я, что мой шеф не растерялся,
и рьяно колокольчиком старался,
и яростно стучал карандашом.

Я вызван был в Ташкент. Я думал — это
для выяснения подлого навета.
Я был свиреп. Я все еще был слеп.
Пришли в мой номер с кратким разговором
и увезли в фургоне, на котором
написано, как помню, было «Хлеб».

Когда меня пытали эти суки,
и били в морду, и ломали руки,
и делали со мной такие штуки —
не повернется рассказать язык! —
и покупали: «Как насчет рюмашки!» —
и мне совали подлые бумажки,
то я одно хрипел:

«Я большевик!»

Они сказали, усмехнувшись: «Ладно!» —
на стул пихнули, и в глаза мне — лампу,
и свет меня хлестал и добивал.

Мой мальчик, не забудь вовек об этом:
сменяясь перед ленинским портретом,
меня пытали эти суки светом,
который я для счастья добывал!



**И я шептал портрету в исступлении:
«Прости ты нас, прости, товарищ Ленин...
Мы победим их именем твоим.
Пусть плохо нам, пусть будет еще хуже,
не продадим, товарищ Ленин, души,
и коммунизма мы не продадим!»**

**Мы лес в тайге валили, неречисты,
партийцы, инженеры и чекисты,
начдивы... Как могло такое быть?
Кого сажали, знали вы, сексоты!
И жуть брала, как будто не кого-то,
а коммунизм хотели посадить.**

**Но попадались, впрочем, здесь и гады...
Я помню, из трелевочной бригады
«мой шеф» в лохмотьях бросился ко мне.
А я ему ответил не без такта:
«Мне партия дороже дружбы. Так-то!»
Он с той поры держался в стороне.**

**Я злее стал и в то же время мягче.
Страдания просветляют нас, мой мальчик,
и помню я, как, сев на бурелом,
у костерка обкомовец свердловский
Есенина читал нам, про березки,
и я стыдился прежних слов о нем.**

**Война... Я помню, шибко Гитлер начал...
Но, «враг народа», для победы нашей
я на Кавказе строил ГЭС опять.**

Ее в скале с хитринкой мы долбили,
и «хейнкели» ночами нас бомбили,
но не могли, сопливые, достать.

Вокруг, следя, конвойные стояли,
но ты не понимал, товарищ Сталин,
что, от конвоя твоего вдали,
тобой пронумерованные зеки,
мы шли через моря и через реки
и до Берлина с армией дошли!

Никто героем здесь не назывался.
Над нами красный стяг не развевался,
но бились мы за Родину свою.
И мы, сомкнувшись, как под красным стягом,
отпор давали власовцам, блатягам
и прочей контре, будто бы в бою.

«Врагом народа» так же оставаясь,
я строил ГЭС на Волге, не сдаваясь.
Скрывали нас от иностранных глаз.
А мы рекорды били. Мы плевали,
что не снимали нас, не рисовали
и не писали очерков про нас.

Но я старел, и утешала Волга
и шелестела мне: «Еще недолго...»
А что недолго! Жить! Сутол и сед,
я нес, вконец измотан, свою муку,
когда в уже слабеющую руку
Двадцатый съезд вложил мне партбилет.

Не буду говорить, что сразу юность —
ах, ах! — на крыльях радости вернулась,
но я поехал строить в Братске ГЭС.
Да, юность, мальчик мой, невозвратима,
но посмотри в окно: там есть плотина!
И, значит, я на свете тоже есть.

Я вижу: ты, мой мальчик, что-то грустен.
Ты грусть свою заешь соленым груздем,
и выпей-ка, да мне еще налей.
Разбередил тебя! Но я не каюсь:
вас надо беречь... Ну, а покамест
продолжу я насчет отцов-детей.

Ты помни, видя стройки и плотины,
во что мой свет когда-то обратили.
Еще не всё — технический прогресс.
Ты не забудь великого завета:
«Светить всегда!» Не будет в душах света —
нам не помогут никакие ГЭС!

Ты помни наши звездные папахи,
горевшие у нас в глазах пампасы,
бессонницу строительных ночей,
«Я большевик!» — под той проклятой лампой
и веру в жизнь за лагерной баландой...
Ни в чем таких отцов предать не смей!

Ты помни всех, кто корчевал и строил,
и кто не лез в герои — был героем,
себе не накопивши ни копья.

Ты помни комиссарскую породу —
они не лгали никогда народу,
и ты не лги, мой мальчик, никогда!

Но помни и других отцов — стучавших,
сажавших или подленько молчавших,—
в Коммуне места нет для подлецов!
Ты плюй на их угрозы или ласки!
Иди, мой мальчик, чист по-комиссарски,
с отцовской правдой против лжи отцов!

И ежели тебе придется туго,
ты не предай ни совести, ни друга:
ведь ты предашь и мертвых и живых.
Иди, мой мальчик! Знай, готовясь к бою:
Алешка, я и Ленин — за тобою.
И клятвой повтори: «Я большевик!»

ДИСПЕТЧЕР СВЕТА

Я диспетчер света, Изя Крамер.
Ток я шлю крестьянину, врачу,
двигаю контейнеры и краны
и кинокомедии кручу.

Где-то в переулочках неслышных,
обнимаясь, бродят, как всегда.

**Изя Крамер светит вам не слишком!
Я могу убавить, если да.**

**У меня по личной части скверно.
До сих пор жены все нет и нет.
Сорок лет не старость, это верно,
только и не юность сорок лет.**

**О своей судьбе я не жалею,
отчего же все-таки тогда
зубы у меня из нержавеющей,
да и голова седым-седа!**

**Вот стою за пультом над водою,
думаю про это и про то,
а меня на белом свете двое,
и не знает этого никто.**

**Я и здесь и в то же время где-то.
Здесь — дела, а там — тела, тела...
Проволока рижского гетто
надвое меня разодрала.**

**Оба Изи в этой самой коже.
Жарко одному, другой дрожит.
Одному кричат: «Здорово, кореш!» —
а другому: «Эй, пархатый жид!»**

**И у одного, в тайге рождаясь,
просят света дети-города,**

у другого к рукаву прижалась
желтая несчастная звезда.

Но другому на звезду, на кепку
сыплется черемуховый цвет,
а семнадцать лет — они и в гетто,
что ни говори, семнадцать лет.

Тело жадно дышит сквозь отрепья
и чего-то просит у весны...

А у Ривы, как молитва ребе,
волосы туманны и длинные.

Пьяные эсэсовцы глумливо
шляются по гетто до зари...

А глаза у Ривы — словно взрывы,
черные они, с огнем внутри.

Молится она окаменело,
но молиться губы не хотят
и к моим, таким же неумелым,
черные, по воздуху летят!

И, забыв о голоде и смерти,
полные особенным, своим,
мы на симфоническом концерте
в складе продовольственном сидим.

Пальцы на ходу дыханьем грея,
к нам выходит крошечный оркестр.
Исполнять Бетховена евреям
разрешило все-таки эсэс.

**Хилые, на ящиках фанерных,
поднимают скрипки старички,
и по нервам, по гудящим нервам
пляшут исступленные смычки.**

**И звучат бомбежки ураганно,
хоры мертвых женщин и детей,
и вступают гулко и органно
трубы где-то ждущих нас печей.**

**Ваша кровь, Майданек и Освенцим,
из-под пианинных клавиш бьет,
и, бушуя,— немец против немцев —
Людвиг ван Бетховен восстает!**



**Ну, а в дверь, дыша недавней пьянкой,
прет на нас эсэсовцев толпа...
Бедный гений, сделали приманкой
богом осененного тебя.**

**И опять на пытки и на муки
тащит нас куда-то солдатня.
Людвиг ван Бетховен, чьи-то руки
отдирают Риву от меня!**

**...Наш концлагерь птицы облетают,
стороною облака плывут.
Крысы в нем и то не обитают,
ну, а люди пробуют — живут.**

Я не сплю, на вшивых нарах лежа,
и одна молитва у меня:
«Как меня, не мучай Риву, боже,
сделай так, чтоб Рива умерла!»

Но однажды, землю молчаливо
рядом с женским лагерем долбя,
я чуть не кричу... я вижу Риву,
словно призрак, около себя.

А она стоит, почти незрима
от прозрачной детской худобы,
колыхаясь, будто струйка дыма
из кирпичной лагерьной трубы.

И живая или неживая —
не пойму... Как в сон погружена,
мертвенно матрасы набивает
человечьим волосом она.

Рядом ходит немка, руки в бедра,
созерцая этот страшный труд.
Сапоги скрипят, сверкают больно.
Сапоги новехонькие. Жмут.

«Эй, жиловка, слышишь, брось матрасы!
Подойди! А ну-ка помоги!»
Я рыдаю. С ног ее икрастых
стягивает Рива сапоги.

**«Поживее! Плетки захотела!
Не порви чулок! — И в грудь пинком.—
А теперь их разноси мне, стерва!
Надевай! Надела! Марш бегом!»**

**И бежит, бежит по кругу Рива,
спотыкаясь посреди камней,
и солдат лоснящиеся рыла
с вышек ухмыляются над ней.**

**Боже, я просил ей смерти, помнишь!
Почему она еще живет!
Я кричу, бросаюсь ей на помощь,
мне товарищ затыкает рот.**

**И она бежит, бежит по кругу,
падает, встает, лицо в крови.
Боже, протяни ей свою руку,
навсегда ее останови!**

**Боже, я опять прошу об этом!
Милосердный боже, так нельзя!
Солнце, словно лагерный прожектор,
Риве бьет в безумные глаза.**

**Падает... К сырой земле прижалась
девичья седая голова.
Наконец-то вспомнил бог про жалость.
Бог услышал, Рива: ты мертва...**

**Я диспетчер света, Изя Крамер.
Я огнями ГЭС на вас гляжу,
грохочу электротракторами
и электровозами гужу.**

**Где-то на бетховенском концерте
вы сидите, может быть, с женой,
ну, а я — вас это не рассердит! —
около сажусь, на приставной.**

**Впрочем, это там не я, а кто-то...
Людвиг ван Бетховен, я сейчас
на пюпитрах освещаю ноты
из тайги, стирая слезы с глаз.**

**И, платя за свет в квартире вашей,
счет кладя с небрежностью в буфет,
помните, какой ценою страшной
Изя Крамер заплатил за свет.**

**Знает Изя: много надо света,
чтоб не видеть больше мне и вам
ни колючей проволоки гетто
и ни звезд, примерзших к рукавам,**

**чтобы над евреями бесчестно
не глумился сытый чей-то смех,
чтобы слово «жид» навек исчезло,
не позоря слова «человек»!**

Этот Изя кое-что да значит —
Ангара у ног его лежит,
ну, а где-то Изя плачет, плачет,
ну, а Рива все бежит, бежит...

НЕ УМИРАЙ, ИВАН СТЕПАНЫЧ!

Не умирай, Иван Степаныч,
не умирай, не умирай...
Нехорошо ты поступаешь,
бросая свой родимый край.

Лежишь ты в Братской горбольнице,
седобородый, у окна,
а над тобой сиделки, шприцы,
и белизна, и белизна.

Ты и обласкан и ухожен,
и здесь просторная изба,
но ты уходишь, ты уходишь,
Иван Степаныч, из себя.

Иван Степаныч, верь в лечение,
Иван Степаныч, не спеши...
Но тело медленно легчает,
освобождаясь от души.

И твои руки тянет, тянет
какой-то силой роковой

земля, темнея под ногтями,
соединиться вновь с землей.

Ты жил на крохотной заимке
в низовье самом Ангары,
и землю знал ты до землянки
еще с мальчишеской поры.

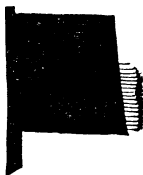
И, как земля, тебе знакома
была от века Ангара,
ее суровые законы,
ее пороги, шивера.

Ты всяким слухам супротивно
не мог поверить целый год,
что поперек нее плотина
стоит и людям свет дает.

Но ты, в раздумьях трудных глядя
на точки красненькие «ТУ»,
котомку все-таки наладил
да и поплыл на верхоту.

И вот увидел ты плотину,
и вот увидел нашу ГЭС,
и, щуплый, седенький, притихло
езде с котомочкою лез.

Не слыша окриков и шуток,
цементной пылью весь покрыт,
плотину ты, не веря, щупал
и убеждался: да, стоит.



**И вдруг в глазах все покачнулось,
и вбок плотину повело,
и сердце словно бы споткнулось —
устало сердце, подвело.**

**И ты упал у поворота
и руки странно распростер...
«Вставай ты, дедушка, ну что ты!» —
тебя хотел поднять шофер.**

**Не умирай, Иван Степаныч,
не умирай, не умирай...
Нехорошо ты поступаешь,
бросая свой родимый край.**

**Когда к Берлину шли солдаты,
то, набираясь к битвам сил,
они варили концентраты,
а эту гречку ты растил.**

**Врачи, прошу вас, помогите,
его сможете пробудить...
Ну что ж, Берлина победитель,
ты смерть не можешь победить!**

**Летят по воздуху ракеты,
и космонавты в них сидят.
На спичках даже их портреты...
А хлеб-то твой они едят.**

**Вот пьют геологи сгущенку,
вторгаясь в дальние края,
а это рыжую Буренку
доила старая твоя.**



**И ГЭС ты с нами строил тоже...
Когда мы стройку здесь вели.
то нам и свеклу и картошку
копали доченьки твои.**

**И пусть у пихт широколапых
пойдет за гробом весь народ,
и пусть, в молчанье снявши шляпы,
за ним правительство идет.**

**И пусть красивыми стихами
напишут люди, ставя крест,
что здесь лежит Иван Степаныч —
создатель спутников и ГЭС.**

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

**В самом сердце Братской ГЭС
чуть не акробатом
я,
глаза тараща,
лез
к люкам, к агрегатам.**

**А веснушчатые жрицы
храма киловатт
усмехались в рукавицы:
«Парень
киловат!»**

**Феликс был мой добрый гид
с мудростью индусскою.
Без него бы я погиб
от руки индустрии.
Феликс в каждый агрегат
пальцем гордо тыкал:
«Ощущаешь?**

То-то, брат...

**Техника —
владыка!»**

**И, за косность не виня —
в технике мой крестный,—
поташил он вниз меня,
к станции насосной.**

**«Автоматика там —
да! —**

**будьте уж покорны,
а дежурная одна —
просто для проформы!»
Вдруг все звуки задавил
сверху шедший вой.
Феликс гордо заявил:
«Мы —
под Ангарой!»**

Стало как-то зябко мне —
еле я нашелся.

А внизу,

в урчащей мгле,
шоркали насосы.

Ну, а Феликс —

что с ним,

шок! —

локоть мой держал.

«Слушай!»

Шепот шел сквозь шорк,

шепот

в нас

дышал:

«Милый,

ты продрог, небось?

Милый,

ты не бойсь.

Милый,

ты ко мне иди.

Ночь —

впереди.

Милый,

в сердце колотье,

в мыслях —

забытье.

Ты возьми все мое,

все мое —

твое...»

Ангара

налегла.

Сотрясалась мгла.
«Все...
 все...
 все...
 все...» —

плыло из угла.
«Все...
 все...
 все...
 все...» —

сквозь удары брызг.
«Все...
 все...
 все...
 все...» —

сквозь машинный визг.
Мы по лестнице —
 и вверх,
в гул стальных громад,
в сварки свист и пересверк,
в скрежет,
 стукот,
 мат.

Бушевал
 воды обвал.
Грохотал
 металл.
Ну, а шепот
 наплывал,
шепот все сметал.

Над гуденьем эстакад,
над рекой великой,
над тайгой косматой,
над
техникой-владыкой.

«Все...

все...

все...

все...» —

дыбилось,

влекло.

«Все...

все...

все...

все...» —

зыбилось,

текло.

«Все...

все...

все...

все...» —

там,

под Братской ГЭС.

«Все...

все...

все...

все...» —

где-то у небес.

А над кранами взойдя,

на стреле вися,

одинокая звезда

трепетала вся.

Буйно бахали грома,
рушились дома,
а она шептала что-то,
вроде:

«Мама... ма...»

Заглушая перебах,
ветви на дубах,
«Все...

все...

все...

все...» —

билось на губах.

«Все...

все...

все...

все...» —

это не забыть!

«Все...

все...

все...

все...» —

это не убить!

«Все...

все...

все...

все...» —

плачет и поет.

«Все...

все...

все...

все...» —

сквозь века плывет...

ТЕНИ НАШИХ ЛЮБИМЫХ

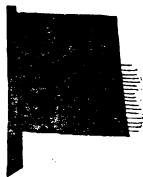
Есть обычай строителей,
древней Элладой завещанный:
если строишь ты дом,
то в особенно солнечный день
должен ты
 против солнца
 поставить любимую женщину
и потом начинать,
первый камень кладя в ее тень.
И тогда этот дом не рассохнется
 и не развалится:
станут рушиться горы,
 хрипя,
 а ему ничего,
и не будет в нем злобы,
 нечестности,
 жадности,
 зависти —
тень любимой твоей
 охранит этот дом от всего!
Я не знаю, в чью тень
 первый камень положен был
 в Братске когда-то,
но я вижу, строители,
 только всмотрюсь,
как в ревущей плотине
 скрываются тихо и свято
тени ваших Наташ,
 ваших Зой,

ваших Зин
и Марусь.

И вы знаете, строители,—
вел я нелегкую стройку
и в несолнечный день моего бытия
положил этой сложной поэмы
неловкую первую строчку
в тень любимой моей,
словно в тень моей совести, я.
Тени наших любимых,
следите, чтоб мы не сдались
криводушию!

К неуюту зовите,
если опыт уютной неправды займем!
Отступать не давайте
в сражении
за революцию!

Проступайте,
светясь,
в глубине красноволных знамен!
И когда мы построим,
хотя это трудно,
Коммуну,—
нам не надо оркестров,
не надо речей и наград —
пусть, как добрые ангелы,
строго,
тревожно
и юно
тени наших любимых
ее
охранят!



ТРЕЩИНА

«В плотине трещина!»

Ребята

вздрагивают.

В машины встречные

ребята

вскакивают.

Слова набатные

гудят

по стройке.

Гитары

с бантами

летят

на койки.

Какие танцы,

кинокартина!!

Все,

как повстанцы,

к тебе,

плотина!

«В плотине трещина!»

Забыв о тосте,

мгновенно трезвые,—

со свадьбы

гости.

Жених

при бабочке,

злобясь

на моду,

бежит,
 прибавивши,
как можно,
 ходу.
И, «шпильки» снявшая
за ним на берег
невеста-сварщица —
босая,
 в белом.
Недавно сонные,
все —
 воедино,
чтобы спасенною
была плотина!

Живу —
 не ною,
но мне порою
тревожно —
 так же,
как ночью тою.
Вот лжец растленно
с трибуны треплется.
Ревь,
 сирена!
Тревога —
 трещина!
Пусть эта трещина
такая крохотная
и не злосвещая,
а даже кроткая,

но не сворачивать
и не опаздывать!
Опасность вкрадчива.
Хитра опасность.
От грязи пошлой
рыдает женщина...
Скорей на помощь!
Тревога —
 трещина!
Поруган кто-то...
Проснитесь,
 дремлющие!
В машины —
 с лёта!
Тревога —
 трещина!

ПРИРОДА

Мы шли к Усть-Илиму на катере,
под ветром страшным кренясь,
а волны и звезды накатывали
и вдрызг разбивались о нас.

И, нас, как гостей своих, балуя:
«Держите, бродяжья семья!» —
рыбак из лодчки на палубу
швырял, раскачавши, сома.

И кок, принимая пожертвованье,
матросам кричал: «Поднажмем!» —

и мокрая ночь под прожектором
крутилась, как сом под ножом.

А филин вдали похохатывал,
и где-то у валуна
на черных рогах у сохатого
лилово качалась луна.

И деятель водного транспорта
срывался, оставив бритье:
«Природа!» — и за плечи тряс меня,
как будто он создал ее.

А если я в кубрике вялился,
то утром понежиться — шиш!
Что леший, из люка он сваливался:
«На палубу! Солнце проспидь».

И солнце совсем у сопешника
обламывалось о корму,
розовое, как сыроежка,
с хвоей, прилипшей к нему.

И, к людям не слишком радушная,
качаясь на белых зыбях,
плыла медведиха рыжущая,
держа медвежонка в зубах.

**А солнце, а кедры отвесные
лохматились в алом дыму...
«Природа...» — штурвальный отвечивал
и всем и себе самому.**

**...Когда-то зверино-косматые,
идя на таинственный зов,
как дети слепые — из матери,
мы вышли из чрева лесов.**

**Мы их вырубаем с жестокостью,
когда это надобно нам,
а чтобы очиститься, все-таки
приходим, приходим к лесам!**

**Но знаю — природа из множества
загадочных гамм сложена.
Природа — и музыка Моцарта,
и Пушкина ямбы она!**

**Порою, природы отступники,
мы вянем бескрыло, тощо,
а наши плотины и спутники —
природа! — не что-то еще!**

**Пусть нас берегут от старения,
пусть нас избавляют от мук,
как будто природы творения —
творения собственных рук!**



Чтоб, глядя на стройки, на выгнутые
людскими руками мосты,
«Природа...» — мы только и выдохнули
и стали спасенно чисты...

ИСКУССТВО

Мне сказал монтажник Слава Лучкин:
«Ну-ка, парень, сядь и закури!
Знаю, есть писатели и лучше,
но люблю я Сент-Экзюпери.

И порою кажется мне ночью:
в самолете пристальном своем
все летает этот чертов летчик
и следит за тем, как мы живем».

Мы молчали в сумраке таежном.
Было еще долго до зари,
и мерцала ГЭС крылом тревожным
самолета Сент-Экзюпери...

Мне сказал прораб Спартак Сорокин:
«Я на водку время не гублю.
Век у нас, по-моему, серьезный —
музыку серьезную люблю.

И, скидая грязную рубаху,
лишь с работы вечером вернусь,

**я бросаюсь к Шуберту и Баху,
к Скрябину и Мусоргскому рвусь.**

**И лежу, и кружатся пластинки,
ну, а у дверей, оцепенев,
как щенята, слушают ботинки,
на которых глина и цемент...»**

**И сказала мне конструктор Клава
около старинного скита:
«У меня есть что-то вроде клада —
тоненькие книжечки «Скира».**

**Вижу я в тайге сады Гогена
и Сезанна сизые стога.
Брежут мне сквозь брызги автогена
голубые девочки Дега.**

**Вы уж за фантазию простите,
но когда метелица свистит,
весь в снегу, роденовский Мыслитель
у плотины на краю сидит...»**

**И само не знаешь ты, искусство,
что на этом дальнем берегу
светом ты тащило нас из гнуса
к будущему свету сквозь тайгу.**

когда ночами где-то
 в «черных воронах»
 большевиков расстреливать везли!
 Не верю!
 Несгибаемо,
 тараняще
 он встал бы и обрушил
 вещий гром,
 и, в мертвых ставший
 «лучшим
 и талантливейшим»,
 в живых —
 он был объявлен бы врагом.
 Пусть до конца тот выстрел не разгадан,
 в себя ли он стрелять нам дал пример?
 Стреляет снова,
 рокоча раскатом,
 над веком
 вознесенный
 револьвер —
 тот револьвер,
 испытанный на прочность,
 из прошлого,
 как будто с двух шагов,
 стреляет в тупость,
 в лицемерье,
 в пошлость:
 в невыдуманных —
 подлинных врагов.
 Он учит против лжи,
 все так же косной,
 за дело революции стоять.

«Что,
вам твист не нравится!»
«Нет,
совсем не то,—
просто вспоминается
кое-что...»

Ни к чему агитки,
только видит он
и парней Магнитки
и ее бетон.

...Пляшут парни на бетоне,
пляшут пять чубов хмельных.
Пляшут парни, наподобье
виноделов чумовых.

Пляшут звездные, лихие
разбуденовки парней
пляску детства индустрии,
пляску юности своей.

...Бал,
бал,
бал на Красной площади!
Бывший Петька смотрит
из-под седины:
«Хоть и странно пляшете —
здорово вы пляшете,
только не забудьте,
как плясали мы...»



В бой зовет Коммуна!
Станьте из детей
сменой караула
у ленинских дверей!

В МИНУТУ СЛАБОСТИ

Когда

в тупом благоденствии
мозолит глаза

прохиндейство,
мне хочется

в заросли девственные,
куда-нибудь,

хоть к индейцам.

Но нету девственных зарослей.

Индейцы

давно повымерли.

И сердце тоской терзается,
словно телок —

по вымени.

Но стыдно,

ей-богу,
плакаться,

что столько подонков,
дескать.

Стыдно

от времени
прятаться —

надо

его
делать!

Разные водятся пряточки:
прячутся в гогот,
 в скулеж,
прячутся в мелкие правдочки,
прячутся в крупную ложь.
Прячутся в лжезаботы,
в танцы,

 футбол,
 вино,
в рыбалки
 и анекдоты,
в карты
 и домино.

Прячутся,
 словно маленькие,
в машину и дачу свою,
в магнитофоны,
 в марки,
в службу,
 друзей,
 семью.

Но стыдно —
 кричу я криком —
прятаться даже в природу,
даже в бессмертные книги,
даже в любовь и работу!
Я знаю,

 сложна эпоха
и трудно в ней разобраться,
но если в ней что-то плохо,
то надо не прятаться —
 драться!

Не в одиночку драться,
а вместе со всем народом,
вместе с рабочими Братска,
с физиком
и хлеборобом!

И я,
если мучат сомнения,
ища
от них
исцеления,
иду
ходоком
к Ленину,
иду
ходоком
к Ленину...
Многие страны я видел.
Твердо
в одном
разобрался:
ждет нас
всеобщая гибель
или
всеобщее братство.
В минуты самые страшные
верую,
как в искупленье:
все человечество страждущее
объединит
Ленин.
Сквозь войны,
сквозь преступления,

но все-таки без отступления
идет человечество

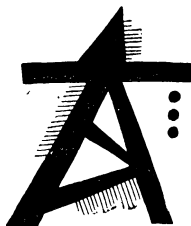
к Ленину,

идет человечество

к Ленину...

НОЧЬ ПОЭЗИИ

Скрипело солнце на крюке у крана,
спускаясь в глубь ангарской быстрины.
Стояла ГЭС, еще темнее справа
и вся в закате — с левой стороны.
Она играла с Ангарой взметенной
и сотворяла волшебство с водой,
ее впуская справа — темно-темной,
а выпуская слева — золотой.
И мы, в ошеломлении счастливом,
зубами ветер цапая взаглот,
на катерке храпливом и скакливом
летели к морю Братскому вперед.
Алело все... Над алыми волнами
подпрыгивали алые сиги,
и вот явилось море перед нами
в зеленой пюльке матери-тайги!
Шалило море с блестками рыбешек,
с буйками и прибрежным ивняком
и баловалось — вправду, как ребенок,
что погремушкой — нашим катерком.
И к поручням, притихшие, припали,
глазами по-отцовски заблестя,



строители, монтажники, прорабы —
ведь это море было их дитя.
И худенькая женщина шептала,
забыв при всех приличья соблюдать,
припав щекой к тельняшке капитана:
«Ах, Паша, Паша, что за благодать!»
И он ее рукой в наколках обнял,
свободною другой держа штурвал...
«Муж и жена... Они поэты оба...» —
матросик рыжий мне растолковал.

Я наблюдал за странною семьей
поэтов...
Был уже немолод Павел,
но буйно, по-мальчишьи чуб седой
на синие есенинские падал.
Да и она была немолода...
Виднелись из-под гребня на затылке,
сквозь краску проступая иногда,
сединки в шестимесячной завивке.
И кожа ее красных, тяжких рук,
как и у всех стиравших много женщин,
потрескалась... Но пробивалось вдруг
девчоночье, живое в их движеньях.
И с радостной смущенностью в глазах,
как если бы ей взять да нарядиться,
на месяц бледный мужу показав,
она вздохнула тихо: «Народился...»
Причалил катер к берегу, и Павел
нам объявил начальственно: «Привал!»
Кто хворост нес, а кто палатку ставил,
а кто уже бутылки открывал.

Стемнело.

За сплетеньем звезд и веток
невидимо шумела Ангара.
Кулеш в котле клохтал.

Под мокрым ветром
кренились крылья красные костра.
Ну, а матросик шустрый тот —

Серенька —
аккордеон трофейный развернул,
ремень плечом напряг, взглянул
серьезно,

а после подмигнул и — резанул!
Он то мотал кудрявой головою,
то прыгал чертом на одной ноге,
как будто рыжик, приподнявший хвою
в угрюмо настороженной тайге.

В траву за поллитровкой поллитровку
швыряли мы, смыкаясь все тесней,
а то, что иглы падали в «зубровку»,
так с ними было даже и вкусней.

И я себя почувствовал собою,
и я дышал отчаянно-легко,
и было мне так чисто, так свободно,
а все иное было далеко.

Тут попросили почитать, и снова
почувствовал я где-то в глубине:
нет у меня чего-то основного,
что нужно этим людям, да и мне.
Стихи свои расставив на смотру,
я, мучась, выбирал.

Не выбиралось,

а поточней сказать,— не вымерялось
по этим лицам, соснам и костру.
Ну, а Серенька — под сосновый шелест
с грустцой кладя на инструмент висок
и пальцами на клавиши нацелясь,
спросил меня привычно:

«Под вальсок!»

Не понял я, а он в ответ на это
вздохнул, беря обиженно пассаж:
«Я думал, что умеют все поэты
под музыку читать, как Пашка наш...»
Прочел я что-то...

После вышел Павел.

Взглянул высокомерно и темно,
ремень матросский с якорем оправил,
чуб разлохматил и кивнул: «Танго!»
И стал читать нахмуренно...

Сквозь всех
глядел, шатаясь, как при шторме, тяжко.
Рука терзала драную тельняшку
так, что русалки лезли из прорех.

*«Забудьте меня, родственники, дети!
Забудь меня, ворчащая жена!
Я молодой! Уйду я на рассвете
туда, где ждет лучистая Она.
И я ее лобзать на травах буду,
и ей сплестать из орхидей венки,
и станут о любви трубить повсюду
герольды наши — майские жуки.
Не будет облаков над нами хмурых,
ни змей, ни скорпионов на пути,*

*а будут астры в белых куафюрах
за нами, словно фрейлины, идти!»*

**И мы молчали добро, осененно,
и улыбались кротко и светло.
«Ну что — сильнó!» — торжествовал
Серенька,
и я ответил искренне: «Сильнó!»**

**А между тем «ворчащая жена»
на выпады нисколько не ворчала.
Она кулеш мешала и молчала,
в свой отрешенный мир погружена.
Чему-то нам неслышному внимая,
глядела на трещавшее смолье.
А Павел сделал жест широкий: «Майя,
ну что ты там сидишь! Прочти свое...»
И Майя, почему-то сняв сережки,
с ним рядом так хрупка и так мала,
в круг вышла, робко стала посередке,
потом кивнула ждущему Сереньке:
«Страдания».**

И тихо начала:

*«Уж вы, очи мои, мои очи,
я не знаю, в чем ваша вина.
Слез моих добивались то отчим,
то бескормица, то война.
И как будто ему станет легче,
если буду я плакать от мук,
добивался их, душу калеча,
мой любимый неверный супруг.*

*Мои очи тоской тяжелеют,
да не очи, а просто глаза,
и никто меня не пожалеет,
хоть катись золотая слеза...»*

**Но, творческую зависть, видно, спрятав,
муж проворчал с сигаркою во рту:
«Безвыходно.... Насчет меня — неправда...»
А Майя: «Ладно, с выходом прочту...»**

**И на обрыве самом встала Майя
перед костром, светясь в его огне,
глаза куда-то к звездам поднимая,
рукою обращаясь к Ангаре:**

*«Ангара моя, Ангарушка,
ты куда бежишь? Пстой!
Я стою, бледней огарочка,
над твоею синетой.
Помнишь парня — звали Пашкою?
Он далёко заплывал.
В косу мне, тобою пахнувшую,
он саранки заплетал.
Сколько желтого песку
в туфельки насыпалось!
Сколько раз мы целовались,
а я не насытилась!
Где теперь вы, туфли-модницы?
Где ты, зорюшка-коса?
Убежала моя молодость,
словно с колышком коза.*

Ангара моя, Ангарушка,
сколько жалуешь ты нам!
Над тобой белее гаруса —
залюбуешься! — туман.
Над тобою ели-сосенки,
мишек умные глаза.
Словно маленькие солнышки.
в тебе ходят хайрюза.
И летают утки-уточки,
и пичуги гомонят,
ну, а губы шутки-шуточки
давно не говорят.
Я как белочка бедовая,—
только зубки выщерблены!
Я как шишечка кедровая,—
да орешки выщелканы!
Ангара моя, Ангарушка,
ты мне счастье нагадай.
Не забуду я отдарочка,
только молодость мне дай!
Поперек тебя плотина,
а над нею — красный флаг.
Подплыву к плотине тихо
и скажу плотине так:
«Ты впусти меня, плотина,
вместе с буйною водой,
ну, а выпусти, плотина,
молодою-молодой.
Ты свети, свети, плотина,
через горы и леса!
Ты сведи, сведи, плотина,
все морщиночки с лица...»

Ты «с выходом» прочесть хотела, Майя!
Я понял тебя, Майя... Выход в том,
чтоб озарял нас, души просветляя,
тот свет, который сами создаем.
И думал я еще о нашей тяге
к поэзии... О, сколько чистых душ
к ней тянется, а вовсе не стилиги,
не «толпы истерических кликуш»!
И стыдны строчки ложные, пустые,
когда везде — и у костров таких —
стихи читает чуть не вся Россия
и чуть не пол-России пишет их.
Я вспомнил, как в такси московском
ночью,

вбирая мир в усталые глаза,
немолодой шофер, дымивший молча,
мне прочитал свой стих, не тормозя:

*«Жизнь прошла... Закрылись карусели...
Ну, а я не знаю, как мне быть.
Я б сумел тебя, Сергей Есенин,
не в стихах — так в петле заменить!»*

И пишут, пишут — пусть корявым слогом,—
но морщиться надменно, право, грех,
и если нам дано хоть малость богом,
то мы должны писать за всех, для всех!
Ведь в том, что называют
графоманством,—
Россия рвется, мучась и любя,
тайком, тихонько или громогласно,
но выразить, но выразить себя!

**Так думал я, и, завершая праздник,
мы пели песни дальней старины
и много прочих песен — самых разных,
да и «Хотят ли русские войны».
И, черное таежное мерцанье
глазами Робеспьера просверлив,
бледнея и горя, болгарин Цанев
читал нам свой неистовый верлибр:**

«Живу ли я?

«Конечно...» — успокаивает Дарвин.

Живу ли я?

«Не знаю...» — улыбается Сократ.

Живу ли я?

*«Надо жить!» — кричит Маяковский
и предлагает мне свое оружие,
чтобы проверить, живу ли я».*

**Кругом гудели сосны в иступленье,
и дождь шипел, на угли морося,
а мы, смыкаясь, будто в наступленье,
запели под гитару Марчука:**

«Но если вдруг когда-нибудь

мне уберечься не удастся,

какое новое сраженье

ни покачнуло б шар земной,

я все равно паду на той,

на той далекой,

на гражданской,

*и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной...»¹*

**И, появившись к нам на песню сами,
передо мной — уже в который раз! —
в тех пыльных шлемах встали**

**комиссары,
неотвратно глядяваясь в нас.
Они глядели строго, непреложно,
и было слышно мне, как ГЭС гремит
в осмысленном величии — над ложным,
бессмысленным величием пирамид.
И, как самой России повеленье
не променять идею на слова,
глядели Пушкин, и Толстой, и Ленин,
и Стенькина шальная голова.
Я счастлив, что в России я родился
со Стенькиной шальной головой.
Мне в Братской ГЭС мерцающе
раскрылся,
Россия, материнский образ твой.**

**Сгибаясь под кнутами столько лет,
голодная, разута и раздета,
ты сквозь страданья шла во имя света,
и, как любовь, ты выстрадала свет.**

**Еще немало на земле рабов,
еще не все надсмотрщики исчезли,**

¹ Б. Окуджава.

**но ненависть всегда бессильна, если
не созерцает — борется любовь.**

**Нет чище и возвышенной судьбы —
всю жизнь отдать, не думая о славе,
чтоб на земле все люди были вправе
себе самим сказать: «Мы не рабы».**

*Братск — Усть-Илим — Суханово —
Сенеж — Братск — Москва*

1963 — 1965

СОДЕРЖАНИЕ

I

Муки совести	7
Граждане, послушайте меня!.. . . .	9
«Качался старый дом...»	11
«Я разлюбил тебя...»	13
«Я как поезд...»	15
«А снег повалится, повалится...»	17
По Печоре	19
Четыре чулочницы	24
Памяти Ахматовой	28
Стихи о старухах	32
Западные кинопечатления	38
Процессия с мадонной	42
Сенегальская баллада	44
Баллада о стерве	51
Баллада о браконьерстве	54
«Ну разве может быть у шкурника...»	58
Эстрада	60
Шутливое	65

II

БРАТСКАЯ ГЭС. Поэма	69
-------------------------------	----

Евгений Александрович Евтушенко БРАТСКАЯ ГЭС

М., «Советский писатель», 1967, 240 стр. Тем. план вып. 1967 г. № 159.

Редактор *В. С. Фогельсон*. Худож. редактор *Л. С. Мухин*
Техн. редактор *Т. С. Ступникова*. Корректор *И. Ф. Сологуб*

Сдано в набор 31/VIII 1966 г. Подписано к печати 15/V 1967 г.

А 02538. Бумага 70×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 71¹/₂ (10,50). Уч.-изд. л. 9,25

Тираж 100 000 экз. Заказ № 309. Цена 1 руб.

Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10.

Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

OCR Давид Титиевский. март 2020 г. Хайфа

1 py6



1 руб.



ОЭЛ

Евгений Евтушенко

БРАТСКАЯ БРАТСКАЯ БРАТСКАЯ
 Братская Братская Братская

СУПЕРОБЛОЖКА

